

*Роман-газета*  
9(93)



**МАТВЕЙ ТЕВЕЛЁВ**

**„СВЕТ ТЫ НАШ, ВЕРХОВИНА..“**

---

ГОСЛИТИЗДАТ

1953

## МАТВЕЙ ТЕВЕЛЁВ

Матвей Григорьевич Тевелёв родился в 1908 году в семье лесного бракера. Детство прошло в родном селе Ильино Смоленской области.

В 1922 году приехал в Ленинград. Здесь он учился в единой трудовой школе, но не закончил ее. Работал на фабрике фотобумаги, был библиотекарем, совмещая с работой учебу в школе рабочей молодежи.

Уже в школьные годы М. Тевелёв горячо увлекается литературой. Многие из того, что ему довелось впоследствии увидеть за период двухлетнего пребывания в Дагестане, Азербайджане, Грузии и Армении, послужило материалом для его первых рассказов, изданных затем небольшим сборником Издательством писателей в Ленинграде.

В 1938 году по своему рассказу «Аринка», опубликованному в «Правде», автор написал сценарий, по которому Ленинградская киностудия поставила фильм.

Великая Отечественная война застала М. Тевелёва в Ленинграде, где он оставался до осени 1942 года, работая в ленинградском радиокомитете. Был на фронтах—Ленинградском и Волховском.

С января 1943 года работал в Москве в качестве специального корреспондента журнала «Пограничник».

После освобождения Советской Армией Закарпатья направлен туда на работу. До настоящего времени сотрудничает в газете «Советское Закарпатье».

Закарпатским областным издательством издано несколько книжек рассказов М. Тевелёва: «Наследники», «У ворот государства», «Исток».

С 1948 года начал работать над романом «Свет ты наш, Верховина...», который впервые опубликован на страницах журнала «Знамя» за 1953 год.

# Роман-газета

## 9(93)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1953

*Матвей Тевелёв*

### «СВЕТ ТЫ НАШ, ВЕРХОВИНА . . . »

РОМАН

#### 1

В саду на одной из улиц Ужгорода, прислонившись к горному склону, стоит небольшой дом. Из его окон виден весь город, с древним замком, виноградниками, черепичными крышами и мелеющей летом рекой.

Бетонная, потрескавшаяся во многих местах дорожка ведет через сад от калитки к застекленной двери. Через эту дверь вошли мы с Ружаной в дом еще молодыми, на этой дорожке учился ходить наш сын Илько. В этом доме...

Но о доме потом.

...Родился и вырос я на Закарпатской Верховине<sup>1</sup>, в селе Студенице.

Бревенчатые хаты с высокими крутыми крышами лепятся там между двух гор по теснине, а от самых крыш, как по ступенькам, тянутся вверх густые ели.

Чтобы увидеть из хаты небо, надо присесть на земляной пол и заглянуть вверх через оконце. Только тогда глазу откроются гребни гор и узкая голубая полоска, и если долго смотреть на ту полоску, начинает чудиться, что это течет закатая зелеными берегами река.

Туристы из Вены, Будапешта, Праги приезжали любоваться красотой зеленых Карпат.

Предприимчивые корчмари возводили над потоками бревенчатые домики для приезжающих. Егери были к услугам любителей поохотиться на оленей, диких кабанов и обу-

чали туристов искусству ловли форелей в быстрых студеных речках.

Конечно, каждая птица свое гнездо хвалит, но нигде не увидишь вам таких бескрайних горных лесов, и таких бьющих из земли шипучих буркутов<sup>1</sup>, и той дрожащей в полуденный час дымки, когда горы, и далекие поднебесные полонины, и крохотные полоски пашен, не теряя своих очертаний, кажутся не зелеными, а синими.

Глянешь на наши лесистые Карпаты издали — и почувдаются они такими приветливыми, мирными и доступными. Не увидишь ни одной обнаженной скалы, ни одной щебенистой осыпи, будто по чьему-то волшебному слову остановились и застыли, не успев расплескаться, зеленые волны. А углубитесь в горы — и охватит вас суровым полумраком ущелий, шумом потоков, и сердце замрет при виде вековых буков и елей, таких огромных, что трудно понять, как держатся они на кручах.

А зимой! Как она хороша зимой, Верховина, с ее частыми снегопадами! Снег здесь не порошит, а валит непроницаемой белой стеной пушистых хлопьев. Ветки деревьев едва держат на себе высокие слойчатые снежные шапки. Глухая тишина. Но прояснится, выглянет солнце — и искристым, веселым огнем запылывает все вокруг в голубых, пурпуровых, бледнозеленых и фиолетовых переливах. А горы! Кажется, что они оторвались от земли и парят в небесной голубизне, как многогранные облака.

<sup>1</sup> Верховина — горная часть Закарпатья.

<sup>1</sup> Буркут — минеральная вода.

Но не лесистые горы, не реки с зеленой, тяжелой, будто жидкое стекло, водой и не синева воздуха, а вечное бездолие и непростая дума о куске хлеба — вот что такое была Верховина.

Десять столетий назад в эти окраинные земли Киевской Руси вторглись кочевые мажарские племена.

На защиту родного зеленого края встали карпатские хлебопашцы и пастухи. Силы были неравные. Всадники пришельцев топтали посевы, жгли селения непокорных, утверждая себя на новых местах. Меч и огонь покорили землю, но народ покорить не смогли. Люди уходили вглубь гор, чтобы сохранить родной язык, веру, обычаи и преданность большой своей родине, от которой насильно оторвали их край.

Проносились века, сменяли друг друга поколения, возникали и рушились государства, только в летописях и преданиях оставалась память об иных, некогда многочисленных народах. Но отторгнутый от большой Руси поточек не могли иссушить ни гнет, ни коварство насильно введенной унии<sup>1</sup>, ни упорная мажаризация, проводимая австро-венгерскими правителями, ни жестокая нищета Верховины.

Схваченные со всех сторон тисками графских лесных угодий и лугов, лепились на кручах клочки крестьянских пашен, о величине которых ходила горькая шутка: «Захочешь, Миколо, отдохнуть в полдень на своем поле, ложись посередине, да не забудь ноги подобрать: вытянешься — панскую землю примнешь».

Бурные воды и дожди вымывали из земли ее соки. Весенние морозы сжигали всходы, и на жалких пашнях верховинских селян пробивались чахлые овсы и ячмень, а выше, на окаймленных бужом и елью полонинах, ядовитый альпийский щавель и заросли низкого можжевельника изгоняли кормовую траву, и стадам было тесно на островках, где она еще росла.

С тех пор, как я помню себя, не было такого года, чтобы на Верховину не приходил голод. Он являлся обычно после рождества и с месяц как бы пробовал свои силы.

Правители края считали, что голод на Верховине так же неизбежен, как смена времен года, и опасались только одного — голодных бунтов. В ужгородском отеле «Корона» устраивались благотворительные балы, а в верховинских селах появлялись жандармы.

А голод наглед. Он шатался из хаты в хату, вздувал животы у ребятишек, валил с ног взрослых, и в деревянных шатровых, без единого гвоздя построенных церквушках непрерывно звонили одинокие колокола.

...Отца своего я не помню. Мне и четырех лет не исполнилось, когда он уехал на заработки в Америку. Но в памяти моей сохранилась сельская улица перед корчмой в холодный весенний полдень. Держась за подол матери, я стоял перед оном корчмы. Лицо у матери было мокрое от слез, как и у других стоявших с нею женщин. На крыльце были свалены в кучу с десятков тайстр<sup>2</sup> и свежеструганные из орешника посошки на дальнюю дорогу.

<sup>1</sup> Уни́я — объединение церкви православной с римско-католической под властью папы римского. Была введена на Карпатах в 1646 г. Это стремление Ватикана подчинить себе православную церковь встречало решительное сопротивление со стороны народных масс. Униатская церковь называется еще греко-католической.

<sup>2</sup> Та́йст\_ра — дорожная заплечная сумка.

Из корчмы, где пили на прощание отъезжающие, несся громкий пьяный говор. Сначала в нем можно еще было различить отдельные голоса, но потом он превратился в общий гул, и вдруг, словно смывая этот гул, на улицу потекла щемящая сердце мелодия:

На высокой полонине<sup>1</sup>  
Ветер завывает...

Женщины плакали. Плакали тихо, покорно, прижав к себе детей. И мать, обхватив руками мою голову, тоже плакала. А из корчмы, продолжая тянуть песню, один за другим стали выходить захмелевшие от палинки<sup>2</sup> люди. Они разбирали свои тайстры и посошки и, спустившись нетвердой походкой с крыльца, прощались с родными.

Может быть, все это запомнилось так хорошо и ясно потому, что я не раз бывал свидетелем таких проводов и прощаний. Не проходило и года, чтобы с Верховины не уезжали в далекие страны десятки и сотни людей на поиски призрачного счастья. Ехали во Францию, Бельгию, Канаду, Соединенные Штаты.

Так уехал и мой отец и не вернулся. Жив ли он, или умер, никто не мог сказать, и все письма, которые под диктовку матери писал сельский грамотей Илько Горуля, оставались без ответа.

Трудно пришлось матери, но вторично замуж она не пошла, хотя сватов засылали к ней многие. Красива собой была моя мать. Я, как сейчас, вижу ее смуглое, чуть удлиненное лицо, черные волосы, серые, очень светлые глаза и такие густые ресницы, что под ними вечно лежала тень, как в солнечный час под елями.

Редко она улыбалась, была скупа на ласку и больше слушала других, чем говорила сама.

Потеряв всякую надежду на возвращение отца, мать начала задумываться над тем, как же выбиться из нужды, в какой мы жили. Выход, ей казалось, был один: учить меня, дать образование, чтобы я ушел с земли, на которой не имел доброй доли ни дед, ни отец. О моем учении мать начала говорить все чаще и чаще, это стало ее единственной целью, а моего поколения люди знают, как трудно было ее достичь.

2

Единственная школа, в которой верховинские дети нашей округи могли обучаться на родном языке, находилась километрах в десяти от Студеницы, за горой, в селе Быстром. Дорога туда шла через перевал, трудная, крутая, а зимой так и вовсе непроходимая.

Почему власти открыли школу именно в Быстром, в таком отдаленном и небольшом селе, а не в Студенице или в Пококах, куда бы могли ходить ребятишки из окрестных сел, толковали по-разному, пока проезжавший через Студеницу ужгородский чиновник, выпив лишнее в корчме, не проговорился: «Потому и открыли, чтобы меньше учились. Верховинскому быдлу и этого хватит».

Стремление учить меня было так велико, что мать готова была продать хату и переселиться в Быстрое.

— Что ж, — говорила она соседям, — своей земли нема, мы легкие.

<sup>1</sup> Полонина — альпийский луг.

<sup>2</sup> Палинка — водка.

Но на душе у нее было тяжело при мысли, что придется все же уезжать из родного села.

Как-то весной четырнадцатого года, когда ветры высушили горные дороги, а леса вокруг затянуло пушистой светлостеной паутиной, мать сказала мне:

— Завтра ходим, сынку, в Быстрое. Надо с учителем договориться и какую-нибудь хижу присмотреть.

На следующий день около полудня мы уже стояли перед крыльцом продолговатой хаты с маленькими оконцами и тухлявой, в зеленых лишаих крышей. Передняя стена хаты вздулась, и ее подпирали три бревна. В некоторых окнах не хватало стекол, их заменяла промасленная бумага.

Такой предстала перед нами быстровская школа.

Еще совсем недавно учительствовал здесь униатский дьяк. Высокий, лысый, туподушный, он избивал учеников и часами держал их коленапреложенными перед засиженным мухами портретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Пил дьяк беспорядно, пока совсем не спился с круга и не замерз ночью под дверью собственной хаты.

Год школа бездействовала. Не находилось охотников ехать на учительство в такую глушь. Думали, что школа останется запертой и следующий год, как вдруг перед самой зимой объявился учитель.

Рассказывали, что Михайло Куртинец, зять сельского кузнеца Василия Митровка, поселился в Быстром с женой и годовалым сыном еще с прошлой весны. До этого он жил где-то у Тиссы в Великом Бычкове и работал механиком на химическом заводе, но из-за болезни жены, которой нужен был горный воздух, Михайло бросил завод и уехал к тестю. Так говорили. А на самом деле, и это узналось впоследствии, причина приезда Михайлы Куртинца в Быстрое была другая.

Не понравился управляющему заводом чересчур грамотный, начитанный самоучка-механик. Не нравилось ему спокойное достоинство, с которым держал себя Куртинец. Но совсем нетерпимым показалось, когда донесли, что механик ведет разговоры с рабочими о том, будто люди могут обойтись без цесаря и без хозяев. А однажды управляющему и самому удалось подслушать рассказ Куртинца, что, дескать, не русины поселились на мадьярской земле, а, наоборот, кочевые мадьярские племена захватили окраинную русскую землю, захватили и пануют на ней вот уже десять раз по сто лет. И хотя у механика были золотые руки, его заменили каким-то австрийцем.

Оставшись без работы, Куртинец попробовал устроиться на лесопильных заводах, но и туда уже успели сообщить, что за птица механик Куртинец.

Ничего не оставалось делать, как переехать к старшему тестю и стать его помощником в кузнице.

Куртинец зажил в Быстром, привыкая к селу и приглядываясь к людям.

Как-то, работая в кузнице, из разговора селян он узнал о беде со школой, а узнав, начал хлопотать, чтобы ему разрешили учительствовать. Чиновник, к которому обратился Михайло Куртинец, до того обрадовался случаю избавиться от забот о какой-то там школе на Верховине, куда он ни разу не заглянул, что даже оказал протекцию Куртинцу. Так в Быстром появился учитель.

О новом учителе шла по горным селам добрая молва. Говорили, что он не только хорошо учит детей родному

слову, но, если надо, не боится заступиться за селян перед экзекутором<sup>1</sup> и графским управляющим.

В народе уважали Куртинца, а студеницкий чабан Илько Горуля, писавший некогда под диктовку матери письма своему отцу, человек резкий и насмешливый, часто пропадал у быстровского учителя и радостно оживлялся, когда заходила о нем речь.

Школа в Быстром должна была находиться под присмотром пана превелебного<sup>2</sup>, но так как своего священника Быстрое не имело, а наезжавший приходский священник бывал здесь редко и неохотно, за школой присматривал староста.

Однажды староста явился в школу во время перемены. Учитель был на своей половине, дети с любопытством разглядывали гостя, человека дородного, с суковатой палкой в руке.

Староста окинул подозрительным взглядом незрачные стены класса и вдруг крикнул: обязательный портрет австро-венгерского цесаря висел не над учительским местом, а возле печки, а над учительским местом в резных ясеневых рамках висели портреты двух совершенно неизвестных старосте людей. Голову одного из них венчала копна курчавых волос, руки были скрещены на груди и взгляд устремлен вдаль; у второго были длинные, опущенные книзу усы, высокая барашковая шапка, а глаза, казалось, следили за каждым движением старосты.

— Что за люди? — буркнул староста.

— Письменники, — шестройно ответили ученики.

— Какие письменники?

— Наши, — снова хором, но смелее прежнего ответили ребяташки. — То вон — Пушкин, а то — Шевченко...

— Гм, — промычал староста, напрягая память. — Что-то я про таких не чул...

— Йо! Пане! — сказал с удивлением один из хлопчиков. — То ж наши, руськи.

— Руськи? — переспросил староста, и лицо его пошло пятнами. — Это кто же их сюда?

— Я, — послышался ответ.

Гость обернулся и увидел вошедшего в класс учителя.

— Пане учитель, — произнес староста, — школа цесарская, а тут у вас письменники...

— Что ж в том плохого? — улыбнулся Куртинец.

— А то, — пристально поглядел на учителя староста, — говорят, что детей учите не тому, чему надо.

Улыбка исчезла с лица учителя.

— Чему я их учу? Говорите прямо.

Староста тяжело задышал и пробормотал, искоса поглядывая на школьничков:

— Ну, что... русины с украинцами да москалями — братья родные...

— А разве это не правда? — спросил учитель. — Вы и сами знаете, что это правда.

— Что я знаю, пане, — сказал староста, — то мое дело, а ваше дело — снять этих письменников... Я вам добрз желаю...

— За доброту спасибо, — усмехнулся Куртинец, — но портреты будут висеть.

— А не пожалеее?

<sup>1</sup> Экзекутор — чиновник, исполнитель решений властей.

<sup>2</sup> Пан превелебный — униатский поп.

— Что это? Угроза?

— Нет, я вас предупреждаю, — сказал староста. И в душе был рад упорству Куртинца, потому что представлялся случай разделаться со строптивым учителем.

В тот же день даже у нас в Студенице стало известно, что быстровский староста собирается в город с доносом.

Выехал староста на рассвете, но едва он отъехал километров семь от Быстрого, из-за придорожных елей выступили несколько человек и преградили ему дорогу. Туманный полумрак и глубоко надвинутые на лоб шляпы не позволяли разглядеть лица людей. Только по топорам за широкими кожаными поясами он догадался, что это лесорубы.

Почуввав опасность, староста стегнул лошадь. Лошадь двинула тележку, но высокий человек в заплатанном коротком серяке, особенно приметившийся старосте (потом поговаривали, что это был Горуля из Студеницы), изловчившись, поймал коня под уздцы и дернул их с такой силой, что конь захрапел от боли, присев на задние ноги.

— Кто такие? — храбрясь, крикнул староста. — Что надо?

— Куда едешь? — в свою очередь спросил тот, кто остановил лошадь.

— Корову еду торговать.

— Брешешь! — сказал человек, подходя поближе к тележке. — Выслуживаться едешь. Донос на учителя везешь.

Староста побледнел:

— Это он вам наговорил на меня!

— Ничего он нам не говорил, сами дознались, а учителя ты лучше не трогай; тронешь или другие тронут — спалим тебя вместе с хозяйством. Чувешь? Хоть сто жандармов держи в селе, а не спасешься от огня!

— Да что же это? Геть! — крикнул староста.

— Ты не храбрись, — усмехнулся человек в коротком серяке, — как бы по тебе от такой храбрости пан превелебный панихида не отслужил.

— Что с ним долго говорить? — нетерпеливо вмешался невысокого роста лесоруб в гуне<sup>1</sup>. — Поворачивай юшка и езжай домой подобра да помни, что за учителя ты отвечаешь! Вот и весь разговор. А начнешь про нас дознаваться, тоже радости не дожидайся.

Он взял под уздцы лошадь, развернул на узкой дороге возок и так весело гикнул, что конь помчался опрометью, не чувствуя вожжей.

Долгое время староста ходил по селу мрачнее тучи. Стал еще больше придираться к селянам, но Куртинца оставил в покое.

...Мне никогда не приходилось видеть быстровского учителя, и рисовал я его себе строгим, седым, высоким, а на школьное крыльцо вышел к нам приземистый, средних лет человек, с широким скуластым лицом и темными жн-выми, но спокойно глядящими глазами.

Спустившись с крыльца, он поздоровался с матерью и со мной за руку.

— Хлопчика хотите учить?

— Сделайте доброе дело, пан учитель, — сказала мать.

Куртинец положил мне руку на плечо:

<sup>1</sup> Гуня — верхняя одежда с длинным начесом шерсти наружу, типа кавказской бурки.

— Из какого села?

Мать хотела ответить, но учитель остановил ее:

— Пусть хлопчик сам скажет. Я ведь его спрашиваю.

Мне очень понравилось, что учитель обращается именно ко мне, и я ответил:

— Из Студеницы.

— Студеницы? — переспросил учитель. — А как же тебе ходить оттуда? Далеко ведь.

Он поднял глаза и, сощурясь, поглядел на высокую Буркутову гору, над которой застыло вытянувшееся вверх белое облако.

— Тут буду жить, — сказал я, уже совсем расхраб-рившись.

— А есть кто у тебя в Быстром?

— Никого нет.

— Да я сама сюда жить перейду, — торопливо произнесла мать. — Пусть только учится.

— Сколько же тебе лет, хлопчику? — заинтересовался учитель.

— Шесть, — ответил я.

— Шесть? — переспросил Куртинец и покачал головой. — Рано учить такого, мал еще.

— Ни, пане, — торопливо заговорила мать, — не мал! Он уже за хозяина в хате.

Куртинец улыбнулся матери. Он начал расспрашивать ее о нашей жизни и слушал с таким вниманием, будто наша жизнь была непохожа на жизнь других верховинских семей.

— Может, ему счастье будет, — сказала мать, поглажив мою голову.

— Пора бы, — произнес Куртинец. — Сколько же еще ждаты его людям?

Мать потупилась:

— И на мое счастье, пане, отец с матерью надеялись, да не сбылось.

— А его сбудется, — сказал учитель. — Только не так... не так, как вы думаете, не в одиночку. В одиночку и дерсво растет, вон как та смерека<sup>1</sup> перед церковью — кривая, согнутая...

Куртинец задумался, разглядывая свои большие, з черных ссадинах руки, и вдруг сказал:

— А хлопчика приводите осенью.

Учиться мне у Куртинца не пришлось. В августе того же года увидел я его в Студенице на пути в Сваляву. Он шел в ряду верховинских лесорубов и пастухов под при-смотром конных жандармов.

В нашем селе к этой партии людей присоединили группу студеницких. Стоя за плетнем, я видел, как про-пался с женой наш сосед Микола Рущак, отец моего друга Семена. Голосили женщины, покрикивали жандармы. Тощий, коротконогий и рано полысевший корчмарь Попша с бутылкой и стопками в руках шмыгал среди отправляющихся в путь. Одни шли и становились упрямее прежнего, другие, охмелев, шумели, храбрились и трозили когу-то.

— Куда их, мамо? — допытывался я.

— На войну, сынку, — отвечала мать, — цесарь войну России объявил...

Спокойнее всех был Куртинец. В черном, накинута на плечи пальто, он молча стоял в тени придорожного

<sup>1</sup> Смерека — вид сосны.

бука, и только тогда, когда конный жандарм приказал людям спроститься, учитель вышел на середину улицы и крикнул, перекрывая гомон и причитания:

— Не плачьте, жинки, вернемся!

3

Оказывается, мы вовсе не русины, а греко-католические мадяры. И те русские, что воюют сейчас с германским императором и австро-венгерским цесарем, — наши давнишние враги.

Люди слушают проповедь пана превелебного хмуρο, потупив глаза. В церкви все больше женщины и мы, ребятишки. Мужчин совсем мало — староста, кивающий головой в знак согласия с паном превелебным, дед Грицан, Федор Скрипка и еще несколько стариков.

Дед Грицан стоит неподалеку от нас, слушает и, вздыхая, шепчет:

— Грешно, а брешет. Прости, боже.

Я гляжу на большое изображение дeвы Марии, и кажется мне, что вот сейчас разомкнутся ее губы и останутся отца превелебного. Но святая дева молчит, уставив глаза поверх людских голов, бесстрастная и безучастная ко всему, даже к младенцу, которого держит на руках.

Война идет третий месяц. Она бушует далеко от заброшенной в горах Студеницы, охватив полсвета. Мы пока еще мало опускаем ее.

Но однажды морозным октябрьским днем проносится над Студеницей причитание:

— Микола мой... оченьки ясные...

Это наша соседка Рупцакова Анна. Она лежит посреди своего двора, стянув с головы хустку, бьется о смерзающуюся землю...

Уткнувшись лицом в плетень, всхлипывает дружок мой Семен.

— Нянька<sup>1</sup> нашего на войне убили, — говорит он мне сквозь слезы.

Я растерянно гляжу на съездившегося от горя Семена и не знаю, как мне его утешить. Таким беспомощным, маленьким я его еще никогда не видел.

У ворот толпятся и шепчутся набезавшие соседи и с опаской косятся на синий продолговатый листок, валяющийся на земле. Его принес староста. Это первая горькая весточка с войны.

Проходит немного времени, и стучится уже староста в ворота деда Грицана — два листка сразу, на двух сыновей... А там слышен плач в хате Скрипки. Убит, пропал без вести. Убит. Опять без вести. Последних больше всего.

Все меньше становится на селе мужчин. Осунулись, потемнели от забот и тревог лица женщин.

Я и Семен уже понимали, что значит «пропал без вести»: это хорошо. Это они на русскую сторону подались.

— Ненадежные люди, — чертыхались сельские жандармы. — Только гляди за ними, чтобы чего не натворили.

А жандармов теперь по несколько в каждом селе. В Студенице их трое. Они рыщут по хатам, а встретив нас, ребятишек, допытываются: кого видели сегодня? Не слышали ли, что говорят про цесаря и про войну?

<sup>1</sup> Нянька — отец.

Что говорят, мы знаем, но молчим. Сболтнешь — и поведут жандармы людей из Студеницы в тюрьму. Скольких они уже увели с Верховины!

А говорят про войну недоброе, влянут в каждой хате. Она, как камень над людьми, гнет их к земле горем, нуждой. И даже нам с Семеном не хочется играть в войну.

Школу в Быстром, как и все другие верховинские школы на родном языке, закрыли.

Я думал, что мать откажется от мысли учить меня в такое тяжелое время. Но мать не сдалась.

Потеряв надежду на школу, она отдала меня учиться грамоте к Илько Горуле, дружившему с быстровским учителем.

Как и где Горуля сам научился читать, я не знал.

Это был рослый, худощавый, слегка припадающий на левую ногу, недожирной силы человек с загорелым лицом, на котором резко выделялись подстриженные щеточкой светлые усы и такие же светлые глаза.

Как и многие верховинцы, гонимый нуждой, безземельем и отсутствием работы на родине, Горуля несколько лет странствовал по белу свету в поисках доли. Он работал каменщиком-строителем в Бразилии, грузил корабли в африканских портах Джибути и Александрии, работал по контракту в угольных кошах Бельгии, но, изверившись в том, что можно где-нибудь найти добрую долю, и тоскуя по Карпатам, возвратился в Студеницу, где его дождалась жена Гафия.

Был в этом человеке особый талант к труду. Быстро, с ходу, он постигал секрет любой работы и за недолгий срок становился превосходным мастером, с которым нелегко было соперничать другим. Искуснее Горули мало кто в нашей округе валял лес на самых крутых и опасных склонах, и редко кто так хорошо и прочно, как он, мог поставить сруб для хаты или смастерить бербенцу — длинную деревянную катушку для перевозки молока с полонины.

Своей земли Горуля не имел, даже перестал мечтать о ней. И хотя он считал себя селявином, годы жизни рабочего наложили на него свою печать. Он и в мыслях и в поступках был смелее, свободнее селянина, а когда речь о нем заходила где-нибудь в другом селе, обычно говорили: «Ну тот, Илько Горуля, студеницкий мастер». Таких рабочих людей в годы моего детства было немало по селам Верховины.

Осенью, зимой и в весеннюю пору Горуля работал то лесорубом, то плотником, то каменотесом на ремонте дорог. Работа была от случая к случаю, и это очень тяготило его. Но с наступлением лета Студеница выбирала Горулю главным чабаном, потому что и в этом деле он тоже был одним из первых. Да и самого Илько влекло приволье горных полонин, а главное, был постоянный заработок, до сентябрьских заморозков.

Но страстью Горули была охота. Увлечение это перешло по наследству от отца, знаменитого у нас медвежатника, который приучал сына к такому рискованному делу с юности. Вот почему, когда Горуля объявился в Студенице, его взяли на службу егерем к графу Шенборну.

У Шенборна во время охоты Горуля покалечил ногу, но, поправившись, продолжал службу, пока его не прогнали за дерзкий язык.

Язык у Горули и в самом деле был дерзкий, а нрав крутой и беспокойный. Малейшая несправедливость вызывала в нем вспышку гнева, а так как в несправедли-

востп не было вокруг недостатка, гнев и озлобление бурлили в этом человеке непрестанно. К жизни и к людям Горуля подходил со своей особой меркой, ценя непокорство и смелость, презирая смирение.

На Верховине испокон века водился такой обычай: когда кто-нибудь умирал, вечером в хату умершего, куда собиралось все село, являлись ряженные — черт и смерть. У черта был длинный коровий хвост и, конечно, рога. Смерть стучала лошадиными зубами и размахивала косой над головами собравшихся. При этих взмахах люди должны были склонять пониже головы. Ночь напролет ряженные плясали вокруг гроба, ирпали в шлепки с одной только целью — отвлечь своими забавами от горя родичей умершего.

Чертом наряжался в селе Федор Скрипка, а смертью — Плько Горуля. Трудно было понять, откуда в этом суровом, ходившем вразвалку человеке бралась такая ловкость, беспешанность и неиссякаемый запас выдумки. Он мастерски представлял то нотарию, то сборщика податей, то корчмаря Попшу.

Люди уважали Горулю, но боялись его. Не боялся Горуля только один человек на селе — моя мать. Встречаясь с ней, Горуля робел, начинал говорить шепотом, и с губ его пропадала насмешливая улыбка. И мать становилась какой-то другой при этих встречах — не такой суровой и строгой, какой бывала она с другими людьми.

Позже, когда я подрос и стал разбираться в жизни, я понял, что мать любила не моего отца, за которого ее выдали, а этого человека. И Горуля ее любил, хотя понимал, что вместе им уже никогда не быть.

На войну из-за хромоты Горулю не взяли. И жил он вместе со своей женой Гафией неподалеку от нас, на окраине села.

Я замер, когда Горуля появился у нас в хате. Горуля уселся, погладил меня по голове и, подойдя к столу, взглянул на кушечный матерью новенький букварь. Внезапно лицо моего будущего учителя посуровело, будто он увидел на столе не букварь, а что-то недоброе. Я не сводил с Горуля глаз, и мать глядела на него с немим вопросом, не понимая, почему в Горуле произошла такая перемена.

Наконец он сел на лавку и, склонив набок голову, поманил меня к себе пальцем. Присутствие матери подбадривало меня, и я подошел.

Горуля смерил меня взглядом с ног до головы и, помедлив немного, спросил:

— Ты кто?

Я беспомощно оглянулся на мать. Но она не спешила прийти мне на помощь.

— Ты кто? — повторил Горуля.

— Иван... Белинцев, — произнес я и застыл в ожидании.

Но Горуля покачал головой.

— Не про то я тебя спрашиваю, — сказал он. — Кто ты: немец, или мадьяр, или словак?

— Ни, — проговорил я, удивляясь незнанию Горуля, — я русский!

— А родная твоя земля как зовется?

— Верховина, — ответил я, не задумываясь.

Горуля улыбнулся. Никогда я не думал, что у него может быть такая добрая улыбка.

— Верховина — то край, Иванку, — сказал он, — край, где ты родился. А вся наша родная земля?

Я знал, о чем он меня спрашивает. Это знал каждый, кто родился и вырос в наших лесистых горах, где все — от названий сел до древних, тщательно хранимых церковно-славянских книг, от преданий до надежд на будущее, — все было нераздельно с ее именем.

— Руська, — произнес я.

Когда и от кого услышал я о ней впервые, мне не ответить, и вряд ли ответил бы кто другой на Верховине. Казалось, что слово это и все понятия, чувства, связанные с ним, рождались у нас вместе с человеком, как рождается ощущение тепла, света и любви к матери. Мне шел только десятый год, а я уже знал, что за горами, в той стране, откуда солнце встает, распростерлась родная нам бескрайняя земля, от которой нас насильно оторвали в далекие времена; знал, что люди там говорят на одном с нами языке, знал я и то, как опасно произносить одно название этой земли при жандарме, старосте или экзекуторе, приезжавшем в село собирать налоги.

— Значит, руська, говоришь? — переспросил Горуля и обернулся к матери. — Чуешь, Марие, что хлопчик сказал?

— Чую, — кивнула мать.

— А какую же ты ему азбуку купила? — с укоризною, едва сдерживая себя, спросил Горуля, перелистывая новый букварь. — Латышица... Разве у нас своей нема?

— Была, — вздохнула мать, — да теперь не купишь. Вон Попша говорит, всю руську жандармы пожгли, а взамен эту велели продавать, — и она кивнула на новый букварь.

— Ну, знаю, что пожгли, — раздраженно проговорил Горуля, — а учить я по такой не стану...

Он полез в карман серьга, осторожно извлек оттуда что-то завернутое в пеструю хустку и стал развязывать узелки. Вскоре в руках у него оказалась старая, замусоленная книжечка, которую он положил на стол и бережно разгладил ее ладонями.

— То наша азбука, хлопчику, — произнес торжественно Горуля, — по ней и выучишься...

Если другие учителя начинали обучать детей с первой буквы алфавита, Горуля начал с середины его. И первое слово, которое прочел я по складам, и первое слово, которое я затем вывел карандашом на бумаге, было «Россия».

Едва я научился читать по складам, мать начала приносить домой книжечки, какпе ей удавалось достать у кого-нибудь. Рваные, с дочерна захватанными краями страниц, духовного содержания — других не было, — они становились моими мучителями. Меня заставляли их читать до головной боли. Я сидел в хате у окна и, водя пальцем по строчкам, тянул слова, в то время как сверстники мои обкатывали снежные горки. Если, бывало, я на минутку отвлекался от чтения и заглядывал в оконце, мать кричала с упреком:

— Опять в окно глядишь? Читай!

Спасали меня сумерки. С сумерками и мать становилась попрежнему доброй и ласковой. Мы ложились спать, не зажигая огня, пораньше, потому что во сне человеку не хочется есть, а под овчиной тепло и не надо тратить хворост на лишнюю толку.



Но сон сразу не приходил, и мать принималась рассказывать мне всевозможные истории про песоголовца<sup>1</sup>, коварного, злого, хищного; про то, как этот песоголовец выкрал у пастуха Микола с Черной горы ключ от земли и забросил его на край света. Микола убил в поединке песоголовца, а сам пошел искать тот ключ.

Рассказы матери были всегда обстоятельны, она подробно описывала песоголовца, а в особенности пастуха Миколу с Черной горы, и в этом ее рассказе Микола почему-то был очень похож на Илька Горулю.

— ...И до сих пор ищет он этот ключ, — слышен неторопливый голос матери, — заглядывает под каждый кусточек, в каждую ямочку, а земля все стоит и стоит запертая...

— Мамо, — спрашиваю я, — а что, если Микола с Черной горы найдет ключ?

— Верховину отопрет, — отвечает мать, — люди умирать с голоду перестанут.

— И за цесаря воевать не будут?

— Дай боже.

Во сне я вижу ключ. Он лежит на дне речки среди камней, и я зову что есть силы Миколу: «Вот он! Вот он!..»

Мать толкает меня:

— Не кричи, глупый! Чего так раскричался...

В мае начинались сборы на полонину. Хозяева метали овец особой, долго не смывающейся краской, ладили бербеницы. Раньше в день выгона отар село шумело. Люди шли палашку, и каждый должен был поднести по чарке головному чабану Горуле. Теперь шла война и сборы проходили невесело.

Мать, не желая признавать никаких перерывов в моем обучении, отправляла меня с Горулей на полонину. Там я проводил все лето, учился и помогал Горуле вести пастушьё хозяйство.

Как ни старалась мать, перерыв все же наступил. Я замечал, что последнее время Горуля вел занятия со мной рассеянно и точно ждал чего-то. На мои ошибки в чтении он уже не обращал внимания, и, когда в условный час я появлялся в его хате, Горуля удивленно смотрел на меня и произносил:

— А-а, то ты, Иваанку?

И опять уходил в себя, мгновенно забывая о моем присутствии.

Несколько раз он оставлял меня наедине с книжкой, а сам куда-то исчезал. Я ждал его дотемна и, не дождавшись, брел домой, но ничего не говорил матери.

И вдруг глубокой осенью как-то поутру часто и сильно зазвонил над Студеницей церковный колокол.

Мы бросились к оконцу и сквозь кисею падающего мокрого снега увидели белущих на звон людей.

Мать всполошилась.

— Сиди дома, — строго приказала она мне. — Не смей никуда ходить. Долго ли в такое время до беда!

А сама нагнула на плечи платок и выбежала из хаты.

Я подождал недолго, затем выскользнул во двор и сам помчался к церкви.

Чтобы мать не заметила меня, я взобрался на сруб старой звонницы и притаялся за стропилами.

<sup>1</sup> Песоголовец — злой персонаж закарпатских сказок.

У церкви собралось все село. Колокол замолчал, и на паперти появился незнакомый мне человек в колушке, с длинным топором, заткнутым за широкий пояс лесоруба.

— Люди добрые! — крикнул он, стянув с головы шляпу. — В России великая революция. Панству там конец! Влада в руках работников и селян. Народу мир и земля!..

А к церкви из села уже скакали конные жандармы без шинелей, в расстегнутых мундирах:

Мне показалось, что я один вижу скачущих всадников, и, поняв опасность, которая грозит лесорубу, с сердцем, колотящимся от тревоги, я скатился с звонницы и, пробилаясь сквозь толпу к паперти, закричал:

— Вуйку<sup>1</sup>, жандармы!.. Скорее, вуйку!..

— Вижу, хлопчику, — ласково отозвался лесоруб, спрыгнув со ступенек в толпу, и словно водой его залило.

Жандармы разогнали людей, но уже ничто не в силах было остановить вестя о великой революции в России. Она, как вихрь, пронеслась по всей Верховине.

Что-то сразу изменилось в нашем селе. Внешне как будто все оставалось попрежнему, но невидимая струна натянулась и напряглась до предела. Это чувствовалось во всем: в том, как тревожно и озабоченно шептались люди; в том, что жандармы совершали свои объезды не попарно, как раньше, а группами в пять-шесть человек; в том, что Поппа раньше времени закрывал свою корчму; в том нетерпении, с каким сообщались новости из других сел и из города.

— Ре-во-лю-ци-я, — повторял я про себя это незнакомое раньше слово. Смысл его был для меня не ясен, но произносилось оно у нас теперь часто, как самые необходимые слова — хлеб или мамо. Мне слышалось в нем нечто грозное и в то же время очень справедливое.

— Мамо, — допытывался я, — что же такое — революция?

— Мал еще знать, — хмурилась мать.

— Нет, мамо, — настаивал я, — вы скажите.

Она недовольно ворчала на меня, но, наконец, сдавалась и объясняла, как могла:

— Панов — гэть, со двора гонят, а панску землю делят, тогда и революция.

— А хорошо это, мамо?

— Тихо ты, — грозила мать, — жандармы учуют.

Я затихал, но ненадолго:

— И у нас так будет, мамо? И нам землю дадут?

— Молчи, молчи, — шептала она. — Дай, матерь божья!

Сколько лет прошло, да еще и мал я был в ту пору, но и поныне перед моими глазами дорога, белая от летнего зноя. С полонины, где пасем мы с Горулей скот, видно, как стремительно низвергается она с перевала, будто узкая водопадная струя, и начинает петлять по зеленогорью над крутизною все ниже и ниже, пока вдруг не очутится у реки и побежит с ней рядом к сливающимся с небом дымчатою простору. Я знаю: там равнина, Тисса, Дунай, — но кажется, что там конец земли.

Горная дорога, а на дороге люди. Их было много. Они ехали на повозках, шли группами пешком. Австрийцы, русины, венгры, чехи, в зеленатых шинелях, в мягких каскетках со споротыми кокардами, взамен которых у многих трепыхались алые досудтки.

<sup>1</sup> Вуйко — дядя.

Это после Брестского мира возвращались в родные края военнопленные.

Б ним навстречу выходили из сел. Даже мне Горуля несколько раз разрешал спускаться с полонины, а сам он днями пропадал у дороги, надеясь встретить среди возвращающихся кого-либо из знакомых.

— Здорово, братья!

— Доброго здоровья!

— Откуда путь?

— А из самой, — отзывался не без важности кто-либо из идущих.

Пояснять не нужно было. Его мгновенно окружали и нетерпеливо, в несколько голосов:

— Ну, как там?

— Там теперь вольно! — отвечал военнопленный, вытирая рукавом заросшее, мокрые от пота лицо. — Панам конец, а земля с фабриками — народу!

В который раз слышали уже все это и не могли поверить.

— Земля народу... а часом то не брехня, человек?

— Какая брехня! — сердито выкрикивал военнопленный. Он стягивал с головы каскетку и, отвернув подкладку, недовольно ворча, извлекал потертую на многочисленных сгибах газету. — А ну, кто грамотный? Бери, читай! Только смотри, побережливей, ещё до дому далеко идти.

И мне довелось однажды взять в руки такой стертый, просвечивающий лист, потому что других грамотных в толпе не оказалось.

Читал я, как требовали, промком, но плохо, с трудом разбирая мелкие буквы, и волновался. А люди слушали с удивительным терпением, серьезно и прощали мне плохое чтение.

Это была газета «Правда» с докладами Ленина о мире и земле.

Когда я кончил читать, стоявший рядом со мной крепкий, жилистый дед взял из моих рук газету, повертел ее со всех сторон и обратился к соседу:

— Как думаете, куме, и нам бы такое дуже подошло?

— И не говорите, — соглашался сосед, — как на нас шито! Послал бы и нам бог!

— Бог не пошлет, — усмехнулся военнопленный, пряча газету. — Сами добудем! Я видел, как это делается.

И пошел дальше.

А за ним шли другие — чехи, венгры, австрийцы — и тоже несли в родные края русские газеты и листовки.

— Слухай, друже, — спросили кого-нибудь из них селяне. — Оставь листок нам. Тут же по-нашему напечатано, не поймут у вас. Разумеешь? По-нашему напечатано.

— По-нашему, по-нашему, — раздельно повторяли те, — по-нашему.

И листовок не оставляли.

Слово, услышанное в те дни на дорогах, не забывалось и не остывало. Бережно уносили его люди с собой, и не давало оно им спать по ночам:

— Вот бы и нам добре, как в России...

Вместе с пленными, покинув окопы, возвращались солдаты, положив на плечо винтовки. Высланные на перевалы и перекрестки жандармы пытались обезоружить солдат, но солдаты разоружали жандармские заставы, надевая отнятыми карабинами верховицев.

На станциях железных дорог, в корчмах и сельских управах рвали в клочья засиженные мухами портреты императора Франца, сбивали прикладами цесарские гербы и на глазах у перешуганных до смерти нотарей жгли долговые кабальные расписки, штрафные и податные акты.

Спасая положение, власти бросили в горы усиленные пулеметами новые жандармские части. Тогда фронтовики и военнопленные стали сходить с больших дорог и пробираться дальше через полонины и леса пастушьями тропами.

С группой человек в шесть столкнулся я в лесу под полониной. Горуля послал меня в село за солью, и я возвращался назад, неся полный мешочек.

Шестеро вышли с боковой тропы и остановились. Остановился и я, глядя на незнакомых вооруженных людей.

— Гей, хлопчику! — крикнул издали коренастый чернобородый солдат. — Далек до Быстрого?

— Далек.

— А ближе дороги не будет?

— Нема ближе, — помотал я головой, не сводя глаз с чернобородого солдата. Что-то знакомое почудилось мне в нем, в его лице и голосе, и, вдруг припомнив, я уже безбоязненно подошел к нему.

— А я вас знаю!

— Откуда?

— Вы пане учитель из Быстрого.

— Верно! — обрадованно подтвердил солдат. — И учителем пришлось быть. А ты чей?

— Белинцевой Марии Иван, из Студеницы.

На лбу Куртинца собрались складки. Он припоминал:

— Учился у меня?

— Ни, пане, — ответил я, — мы с мамой до вас приходили. Наказали осенью прийти, а осенью вас на войну угнали.

— Помню, помню, — весело проговорил Куртинец. — Доброго здоровья, Белинец Иван, — и протянул мне руку. — Значит, далеко до Быстрого? Я с этой стороны ни разу еще туда не ходил.

— Не так, чтоб очень далеко, — пожалел я Куртинца, — а вы не ходите туда, пане. Старый ваш третий год как помер, а жинка с хлопчиком на низ переехали, кажут — аж за Мукачево.

Лицо Куртинца помрачнело. С минуту он стоял, задумавшись, потирая заросшую щеку.

— Когда уехали?

— Старого похоронили, потом мало еще пожили, а потом и уехали, — ответил я.

— А Горулю Илька ты не знаешь? — спросил Куртинец после паузы.

— Знаю, пане! Яв же мне не знать Горулю? Пойдемте, я вас проведу к нему на полонину.

...Они долго стояли, обнявшись, перед колыбей<sup>1</sup>, трясли друг друга за плечи, и мне было смешно, что это делают взрослые люди, да еще такие, как Горуля и бывший учитель из Быстрого.

Собрались пастухи. Пришедшие солдаты осматривали свои измятые ранцы, оружие, а Горуля с Куртинцем все еще стояли обнявшись.

— Из плена?

— Не то слово, Илько.

<sup>1</sup> Колыба — бревенчатое, наполовину врытое в землю жилище пастуха.

— С воли, значит?

— Пожалуй, так верней.

Они вошли в колыбу. Я пробрался следом за ними и притаился в углу. Куртинец опустился на подстилку из душистого сена и стал расшнуровывать тяжелые солдатские башмаки. Горуля на корточках сидел у стенки и не сводил глаз с Куртинца.

— Я уже кого не спрашивал про вас! — говорил Горуля. — И к дороге ходил глядеть и людям наказывал, чтобы узнавали. — Он хотел еще что-то сказать, но нахмурился и спросил: — В Быстром еще не были?

Руки Куртинца, разматывающие запыленные обмотки, дрогнули.

— Что там стряслось с моими? — спросил он.

— Старый помер...

— Это я уже знаю... А почему уехала жинка?

Горуля приподнялся было и опять уселся на корточках.

— Староста, пес, выжил. А хату с торгов продали.

— Это по какому закону? — удивленно и негодуя спросил Куртинец.

Горуля усмехнулся.

— Как надо человека со свету сжить, так и закон найдется. Бумаги, пес, представил, что старый податки не уплатил. Долг выходит.

— А был ли долг? — все больше мрачней, спросил Куртинец.

— Люди так говорили, что не было, — пожал плечами Горуля. — Так ведь одно дело — люди, а другое — староста с печаткой.

Помолчали.

— А Мария моя с Олексой где сейчас? — спросил Куртинец. — Хлопчик вот сказал, что под Мукачевом?

— Под Мукачевом, — подтвердил Горуля, — и пана я того знаю, у кого она внаймах, и хлопчика вашего в зиму видел...

Лицо Куртинца прояснилось.

— Большой?

— Большой уже, только, — Горуля замялся, — слабый хлопчик, Михайле.

— Что так? — встревожился Куртинец.

— Хворает часто, в чем душа держится, не знаю, — и, словно пожалев, что об этом заговорил, Горуля стал утешать помрачневшего Куртинца: — Подожди печалиться, даст боже, и выправится хлопчик.

Наступила пауза.

— Ну, а Марии моей как у того пана? — наконец спросил Куртинец.

— Ничего не говорила, — пожал плечами Горуля. — Ох! Связал бы я панов всех одной мотузкой<sup>1</sup> и...

Мне очень хотелось знать, что сделал бы Горуля с панами, но он не досказал, а только с такой силой опустил кулак на колено, что сам поморщился от боли.

— Совсем ты злой стал, — сказал Куртинец.

— Разве я один? — вскинул глаза Горуля. — Война и недоля до того людей повысушила, что люди как тот лес в засуху, бросишь уголочек — весь займется...

— Значит, и у нас время подошло, — произнес Куртинец. — В добрый час. Пусть горит ясно да жарко!

Полдня Куртинец пробыл на полонине с пастухами. Потом он и Горуля спустились к лесорубам и вернулись поздно ночью.

Сквозь дрему я слышал, как, сидя у костра, Куртинец говорил что-то Горуле, упоминая железную дорогу, Мукачево, имена незнакомых мне людей. Затем, когда они замолчали, Горуля подошел к тому месту, где я лежал, и, склонившись надо мной, спросил:

— Иванку, спишь?

— Ни, не сплю, — пробормотал я.

— Тогда слухай, что я тебе скажу. Пойдешь завтра до дому и скажешь матери, что нема у меня теперь времени тебя учить. Понял? Так и передай.

Сказав это, Горуля снова отошел к костру.

Я приподнялся, тараща глаза на сидевших вокруг костра людей.

«Почему у него времени теперь нема? — пронеслось в голове. — Видно, он куда-то собирается... Так ведь он и раньше уходил, а не говорил мне, что у него времени нема меня учить».

Мысли путались. Усталость от впечатлений за день брала свое, и я вскоре заснул.

Утром, когда я проснулся, ни Куртинца с его спутниками, ни Горули не было.

Я вышел из колыбы. У кошары возился старый дед Василь Грицан.

— Диду, — спросил я, — где они?

Прямой, тонкий, с глазами светлыми, как два родничка, старик посмотрел на меня и махнул рукой в сторону тропы.

— Ушли, хлопчику... Зорьку ушли тебе добывать.

\* \* \*

И вот еще в памяти. Нас гонят за село к мельнице у поточка.

Мужчин в Студенице не найти, и солдаты, громко именующие себя чешскими легионерами демократии, выгнали из хат на дорогу женщин, детей и стариков.

День ясный и такой холодный, что стынут босые, ко всему привыкшие ноги.

Это осень девятнадцатого года.

Лишь теперь, много лет спустя, я в силах представить себе и понять, чем был тот далекий год для карпатского нашего края.

Рухнула и расползлась, как спитый гвильминитками серяк<sup>1</sup>, австро-венгерская империя.

Горели костры на вершинах гор. Огни их призывно светили в ночи, созывая окрестные села и хутора на громады. Гуцульские бокорашы<sup>2</sup>, сваяевские лесорубы, батраки долины, верховинские хлеборобы и пастухи семьями стекались к местам сбора.

Один за другим неторопливо выходили они на круг перед промадой и произносили:

— Я Петелица Михайло из Пасеки. Воля моя: быть с Украиной, матерью нашей, на веки вечные.

— Да будет! — отзывалась громада сотнями голосов.

И казалось людям, что долгожданное время пришло и что нет больше силы в мире, которая может преградить дорогу их чаяниям.

Была советская власть в Венгрии — красный островок в самом центре Европы. И у нас над крышами сельских ушрав Студеницы, Быстрого и других верховин

<sup>1</sup> Мотузка — веревка.

<sup>1</sup> Серяк — куртка из грубого дмотканного сукна.

<sup>2</sup> Бокорашы — плотоголы.

ских сел трепетали на ветру алые флаги с серпом и молотом.

В управах вместо обещавших старост заседали теперь избранные народом комитеты. Тут готовились к разделу земли, тут велась запись в русинскую Красную гвардию, в которую ушли Куртинец и Горуля.

Но чаяниям народа не суждено было сбыться. На большой Украине полыхала гражданская война, а раду в городе Хусте, на которую собрались делегаты всех городов и сел, чтобы подписать манифест о воссоединении, прибрали к рукам клявшися в любви к народу умелые адвокаты, духовные отцы и газды<sup>1</sup>. Они направили свою делегацию через горы не к Советскому правительству, как того хотел и ждал народ, а к Семену Петлюре.

А молодую советскую Венгрию затопили кровью войска, посланные королем Фердинандом из Румынии, Бенешем из Чехии. А разбитая в боях на Тиссе русинская Красная гвардия небольшими группами ушла в горы, безуспешно пытаясь пробиться на восток.

...Нас гонят за село солдаты-победители. Благословленные северо-американским президентом Вильсоном и заместником божьим на земле папой римским, они наводнили наш край.

Я иду между матерью и дедом Грицаном. Лицо у матери бледное и словно окаменевшее. Старик бредет сгорбившись. Глаза его слезятся от холода и пристального, уставившегося в одну точку взгляда.

У мельницы под деревом нас поджидает группа офицеров, солдаты, студеницкий и быстровский старосты. Но мы глядим не на них, а чуть поодаль. Там на обочине лежат четверо. Ноги их вытянуты и неподвижны, головы неестественно закинуты назад, и я не могу поверить, что один из них — Куртинец.

Два дня назад группа красногвардейцев, преследуемая солдатами, принесла его ночью тяжело раненного, истекающего кровью в село.

Нести Куртинца дальше было нельзя и людям ничего не оставалось делать, как скрыть его где-нибудь в надежном месте, оставив при нем трех красногвардейцев.

Только Гафия, жена Горули, и дед Василь Грицан, поивший умиравшего наваром из целебных трав, знали, где скрывается Куртинец.

Наутро в Студеницу вошли чешские legionеры. Их встретил возле корчмы староста Стефан Овсак. Сознывая, что теперь он в безопасности, Овсак пригласил к себе в хату офицера. Всячески желая показать, что готов к услугам, он прежде всего сообщил:

— Как вчера, пане, красные пришли до нас ночью, так видел я, что несли они кого-то на носилках, а уходить стали, носилок тех с ними не было. Сдается мне, что они кого-то сховали в селе.

Весь день солдаты рыскали по Студенице, не пропуская ни одной хаты, ни одного оборога<sup>2</sup>, и ничего обнаружить не могли. Только на следующий день, уже перед вечером, они набрели на полуразрушенный сарай за мельницей, и, когда решили заглянуть в него, их встретили выстрелы.

Больше часа была слышна стрельба у мельницы. Нам запретили<sup>1</sup> выходить из хат, и, глядя в оконце, я видел,

как внизу по улице, боязливо озираясь, взад и вперед ходили патрули.

Стрельба смолкла лишь тогда, когда у красногвардейцев иссякли патроны. Но и после этого солдаты не решились войти в сарай. Ворвались туда вооруженные топорами студеницкие богатеи — братья Овсаки — и приехавший к офицеру быстровский староста с тремя сыновьями. Все они куда-то сгнули, пока трепыхались над сельскими управами красные флаги, а теперь, с появлением солдат, будто из-под земли вылезли.

Охмелевшие от злости и вышитой для храбрости сливовицы, они наперебой просили офицера, чтобы им выдали на расправу красных.

— Как солдат, я не могу этого сделать, — ответил тот, — но... но вас удерживать тоже не могу.

Он повернулся и отошел от сарая.

...Теперь четверо, с запекшейся на лицах кровью, лежат у дорожной обочины, и селян пригнали смотреть на них для устрашения.

Чем ближе мы подходим к убитым, тем тяжелее и медленнее становится шаг. Мать, обхватив меня за плечо, прижимает к себе, словно хочет укрыть от беды. Офицер что-то кричит ведущим нас солдатам: Те отходят подальше от толпы. В это время из группы ожидающих нас под деревом военных, старост и других незнакомых в городской одежде людей на дорогу выскакивает долгоногий плотный человек в плаще и коротких, стянутых ниже колен штанах, а за ним семенил пучеглазый староста Овсак.

В руках у долгоногого диковинный черный, свержающий аппарат. Человек то и дело припадает к нему глазами, пятится, выворачивая ноги, приседает.

Мать, дед Грицан и остальные замедляют шаг и, тревожно переглянувшись, останавливаются.

— Что стали? — кричит Овсак. — Разве не видите, что до нас из самой Америки пан редактор приехал фотографировать? Треба, люди добрые, не стоять, а идти, и повеселее... Да не на пана редактора смотрите, а на этих...

И кивает в сторону убитых.

Но никто не двигается с места.

Тогда за дело берется офицер с солдатами. Нас гонят вперед, потом назад, потом опять вперед. Американец, перелегая с одной стороны на другую, крутит ручку киноаппарата, говорит что-то старосте, а Овсак, проживший с десяток лет в Америке, переводит.

Но вот перестал трещать аппарат. Размашистым шагом американец подходит к нам, беспцеремонно расталкивает людей, словно ищет кого-то, пока взгляд его не останавливается на деде Грицане. Он хлопает старика по плечу и выводит деда вперед. Затем американец начинает что-то говорить Овсаку. Овсак напряженно слушает и, бивнув головой в знак того, что все понял, обращается к старому:

— Диду! Пан редактор хочет вам дать доллар. Чули вы, что такое доллар? То американские гроши.

— Чул, — подтверждает Грицан. — А за что мне гроши? Разве они у пана лишние?

— Не лишние, — мнетя Овсак, — только вы, диду, за тот доллар должны подойти и плюнуть на тех злодеев красных...

Выговаривая это, староста поспешно делает шаг назад, и в лице его мелькает боязливое ожидание.

<sup>1</sup> Газда — зажиточный крестьянин.

<sup>2</sup> Оборог — навес на четырех жердях, под которыми складывают сено.

Дед молчит. Наступает тишина. Мать прижимает меня к себе еще теснее. Глаза всех устремлены на Грицана: что он скажет?

Старик поднимает светлые слезящиеся глаза и обводит ими всех окружающих его.

— Гроши я те не возьму, Стефан, — наконец произносит он, — прешно, так и скажи. А плюнуть — плюну.

Дед делает шаг вперед, останавливается, и тяжелый шлевок летит в лицо заморского гостя.

\* \* \*

Солдаты уходят из Студеницы через несколько дней, уверенные, что теперь будет спокойно в нашей округе.

В селе тишина, даже в хатах говорят шепотом, даже избитый дед Грицан, которого мы навещаем с матерью, лежит молча, не стонет и не жалуется.

Солдаты уходят, и глухой ночью после их ухода занимаются пламенем дворы Овсяков в Студенице и старосты в Быстром.

Дружный огонь одновременно охватывает и надворные постройки, и хаты, и плетни. Никто не идет тушить, а это страшнее огня.

Отсвет пожара бьется в наше оконце.

Я тихо лежу в углу кровати, мать стоит у печки, а на лавке возле окна — Горуля. Он сидит сгорбившись, вытянув по столу длинные, сжатые в кулаки руки.

Горуля постучался к нам полчаса назад, и когда мать открыла ему, запретил зажигать огонь.

— Ты не бойся, Марие, — сказал он, опускаясь на лавку. — Пришел посидеть с тобой, а потом уйду.

Мать ничего не ответила, только прислонилась к печке и тихо спросила:

— Откуда ты?.. Живой?!

Горуля усмехнулся:

— Думаю, что живой... Два дня дрались за перевалом... Нас семнадцать, а их сотня... Горит душа, Марие, горит и болит...

— Все кончилось, значит, Ильку?

— Молчи, — сказал Горуля. — Одно дерево срубят — другие поднимутся.

И слышно было в темноте, как опустились на доски стола его тяжелые руки.

— Домой хоть заходил? — нарушила молчание мать. — Гафия убивается.

— Знаю. Был.

Опять тишина. И вдруг где-то далеко на селе завывла собака, отозвалась другая, поближе, тявкнул и заскулил щенок на соседнем дворе, а маленькое оконце нашей хаты из черного стало розовым, будто занялась за ним заря.

Мать охнула и всполошилась. Она бросилась к двери, но Горуля остановил ее:

— Сиди, Марие, то Овсяки горят...

Он произнес это ровным, спокойным голосом и даже не взглянул в окно.

Мать отошла от порога и снова прислонилась к печке. ...В хате совсем светло. Горуля и мать молчат. Лицо у Горули заросшее, похудевшее.

— Марие, — внезапно оклеветает он мать, не поднимая глаз, — помнишь, Марие, как мы с тобой шли с половины по весне? Полдень был, солнце после дождя...

— Чего тебе вспомнилось? — строго спрашивает мать.

— Один бог знает, чего... А горит ясно. Хорошо горит! Он встал шумно и решительно.

— Я пошел, Марие.

— Куда же ты теперь?

В голосе матери такая неожиданная глубокая тревога, что Горуля, сделавший шаг к двери, останавливается. С минуту они глядят друг на друга, Горуля и мать.

— Нельзя мне еще на селе оставаться, — наконец произносит Горуля. — Уйду на Раховщину. Пережду время, а там и вернусь...

Вновь появляется Горуля в Студенице почти год спустя, летом. Он молчалив, замкнут и еще более озлоблен, чем прежде.

4

Зима двадцатого года выдалась у нас на Верховине особенно голодной. Минувшее лето стояло в дождях и туманах, и люди едва собрали со своих полосок столько, сколько посеяли на них.

Это был страшный, тяжелый год для всей Верховины, но в летопись нашего села, да и других окрестных, он вошел не с обычным эпитетом «лютото» или «голодного». Вспоминали о нем, люди говорят: «Год, когда Петро Матлах из Америки вернулся».

В моей же памяти сохранился не только год, но и день возвращения Матлаха. Вот как это произошло.

Только что кончилась пасхальная неделя с ее церковными службами, крапеными яичками, криками и потасовками пьяных перед корчмой. Портил праздничное настроение теплый тяжелый туман, беспросветно нависший над горами. Раньше обычного он съел снег, не оставив его даже в укромных лошадках, и земля казалась свежившейся, жалкой.

Корчмарь Попша, у которого моя мать мыла полы, сразу после пасхи собрался ехать по делам километров за двадцать от Студеницы, в село Воловец.

— Слухай, Марие, — сказал он накануне моей матери, — может, ты отпустишь со мной твоего хлопца, чтобы он за возом присматривал. Я тебе за то соли отвешу.

Мать согласилась, а я, я был так рад предстоящей поездке, что не вытерпел и помчался хвастаться перед друзьями.

Моим другом попрежнему был Руцаков Семен, белесый хозяйственный хлопчик. Хата Руцаков, стоявшая по соседству с нашей, была битком набита женщинами: две бабки, мать и три сестры. После гибели отца Семен остался единственным мужчиной в доме. Без него не сиделся за стол, без него не решали никаких дел. С восьми лет он уже умел и в поле работать, и плетень подправить, и овес на мельнице смолоть, да так, чтобы мельник не обдурил. Ничего зря у него не пропадало. Найдет конский волос на дороге — и в хату, гвоздь — в хату.

— Хозяин растет, — говорили про него люди.

А он, польщенный такой похвалой, старался еще больше. Бывало, часу без дела не проведет, все мастерит что-нибудь. И ходил он как-то важно, подражая отцу, и говорил басом.

Вторым, впрочем, может быть, самым любимым, другом моим была матлачихина нянька Оленька, а от роду было этой няньке девять лет. Маленькая, черноволосая, с горя-

щами угольками вместо глаз, появилась она в Студенице за год до того счастливого дня, когда я собирался в Воловец.

Муж Матлачихи Петро Матлах, среднего достатка хозяин, еще до войны уехал на заработки в Америку, оставив жену беременной. Когда у Матлачихи родился и немного подрос сын, она наняла себе дивчинку где-то в соседнем селе за харчи, ну и за какую-нибудь одежду, лишь бы совсем голой не ходила. Оленка не только нянчила матлаховского отпрыска, а и двух коров поила, и воду на гору таскала из речки, и хворост собирала в лесу. Пройдешь, бывало, мимо матлаховской хаты, только и слышно было:

— Оленка!.. Оленка!..

Не помню, при каких обстоятельствах мы с Семеном увидели впервые Оленку и чем она нам так приглянулась, но только на следующий день мы долго кружили вокруг матлаховой хаты. С того времени и завязалась наша дружба с дивчинкой.

Оленка, казалось, никому не отдавала предпочтения. Она дружила с нами одинаково, со мной и Семеном, а мы очень дорожили ее дружбой.

Вот этим-то двум моим друзьям я и сообщил о поезде в Воловец.

— Йо, Иванку, — сказала Оленка, и в черных глазах-угольчках появились испуг, — то дуже далеко!

— Конечно, не близко, — ответил я с важностью и мелким вглянул на присмирившего и явно завидовавшего моему счастью Семена.

— Может, то дальше, чем до Америки? — опять спросила Оленка.

— А ты как думаешь! — презрительно сказал Семен. — Раньше та Америка, а уж за ней тот Воловец.

Я сразу раскусил Семена. Я понял, почему он это сказал: он просто хотел блеснуть перед Оленкой-широтой своих познаний. Но Оленка даже не взглянула на бедного, страдающего Семена. Она глядела только на меня и, конечно, опасаясь за мою жизнь, шепотом, от которого у меня озноб пробежал по спине, спросила:

— И не страшно тебе, Иванку? Так далеко! Еще песиголовца какого-нибудь встретишь в дороге.

— Вот еще! — усмеялся я. — Чего мне бояться с Поппей?

Оленка вздохнула и промолчала. Но в сумерках, когда я рубил во дворе хворост для топки печи, кто-то тоненьким голоском обликнул:

— Иванку!

Я оглянулся, но никого не увидел.

Тоненький голосок назвал мое имя вторично, и только теперь я заметил за плетнем мерцающие в сумерках глаза.

— Оленка!

— Поди сюда, Иванку!

Я подошел к плетню, и сердце мое забилось от тихой радости, какой мне еще никогда не приходилось до сих пор испытывать.

— Иванку, — говорила между тем Оленка птичьим своим голоском, — уж я бежала до вашей хаты, бежала, сама не знаю как!.. Все боялась, что Матлачиха схватится... Возьми, это я тебе принесла...

Она нашла мою руку и положила на ладонь тряпочку, в которой было завернуто что-то упругое. Нежный медвяный запах, какой бывает только в вечернюю пору на по-

лонинах, поплыл из моей руки, и мне почудилось, что не полотняную тряпочку, а охапку цветов и трав дала мне в руки Оленка.

— Что тут? — спросил я.

— Ты не бойся, — сказала Оленка, — это тебе. Никакой песиголовец до тебя не дотронется и дорога будет добрая, если такая трава лежит за пазухой. Мне дед Грицан сказал: ее найти перед вечером и в тряпочку белую завернуть... Я аж на Желтый камень ходила, — вот куда, — там и нарвала... Маленькая травка такая, с цветочками... Дед Грицан много чего знает...

Она говорила быстро, порывисто, и мне показалось, что я слышал, как бьется ее сердце.

— Только ты, Иванку, никому другому про эту траву не говори, — прошептала Оленка, — и тряпочку не разворачивай, чувствуешь? А то все пропадет... Никто про ту траву не должен знать.

— Ладно, — сказал я. — А тебе дед Грицан не побоялся сказать?

— И мне побоялся, только я ему за это из речки воды понатаскала.

И вдруг где-то далеко тишину сумерек нарушил женский голос:

— Олен-но-о!.. Где тебя носит?..

Оленка встрепелась. Ее мерцающие глаза погасли.

— Схватила Матлачиха, — произнесла она грустно. — Я пойду уж, Иванку, а ты тряпочку за пазуху спрячь да у самого сердца все время держи... — и побжала прочь от плетня.

На рассвете с радостным чувством я сел в повозку за спиной Поппи.

Всю дорогу до Воловца ехали хорошо и спокойно. Сытые кони скоро катили возок, равного которому не было ни у кого в округе. Желтый, на рессорах, с высоким, удобным сиденьем, он принадлежал когда-то пану превелебному, но пан превелебный пропил его корчмарю в одну ночь.

Жадно, с интересом присматриваясь к незнакомым пейзажам, я ни на одну минуту не забывал о тряпочке с травой. Чудилось мне или это было на самом деле, — даже сквозь надетый на меня серяк из толстого, как войлок, сукна пробивался ее нежный запах.

В Воловце мы пробыли сутки. Лысы, согнутый, точно постоянно готовый к услугам, Поппа ходил по делам, а я безотлучно находился при конях, подкладывая им сена, скучал и очень обрадовался, когда на следующий день утром тронулись в обратный путь.

Километрах в четырех от Воловца наша тележка нагнала шагавшего по обочине человека. На нем был старенький костюм городского покроя в крупную коричневую клетку и жесткая соломенная шляпа с черной лентой. За спиной путешника висела тощая верховинская тайстра, а через плечо были перекинuty связанные шнурами ярко-оранжевые ботинки с тупыми носами.

Услышав стук колес, путешник обернулся.

— Матерь боже! — крикнул Поппа, придерживая коней. — Да это никак Петро Матлах из Америки идет! Это ты, Петре?

— Я, куме, я... — отозвался человек, — доброго здоровья! — и улынулся так криво, будто улыбка причиняла ему физическую боль.

Тут даже и я узнал Петра Матлаха, уехавшего еще в самый канун войны на заработки в Америку. Первое мгно-

венье мне показалось, что он несколько не изменился. У него всегда были одутловатое лицо, редкие черные волосы и маленькие глазки. Но, присмотревшись, я заметил, что в нем все же произошла перемена: не то, что он постарел, нет, — он казался мне теперь каким-то вертким, а вытянутая вперед шея вытянулась еще больше, и от этого создавалось впечатление, что он к чему-то приплюхивается.

«Как тот песоголовец, — думал я. — Ей-богу, песоголовец!»

— Вот уж не ждали, что ты так быстро вернешься, — пропел Попша, пожимая Матлаху руку.

— Разве то быстро? Шесть лет!

— Кому какая удача, — и Попша посмотрел на Матлаха, словно прощупывая его.

Матлах опять улыбнулся.

— Я на те удачи нагляделся, куме, вот как нагляделся! — и провел пальцем по горлу. — С меня хватит!

— Так, так, — почесал под шапкой лысину корчмарь, — шустой, значит, идешь?

— И шустой горшок бывает дороже полного, — уклончиво ответил Матлах.

— Это как понять?

— Уж как знаешь.

— А жинка твоя ждет, что хату новую поставите, земли прикупите...

— Как бог даст, — вздохнул Матлах. — Все под ним ходим.

— Ну что, подвезти тебя? — спросил, наконец, Попша.

— Как возьмешь, куме?

— Не дороже других: десять до села, одиннадцать до хаты.

— А дешевле? — спросил Матлах.

— Дешевле никак. Дорога все в гору, коням трудно... Другой бы пятнадцать спросил.

— А за пять?

— Что ты, куме? За пять только до Лесничего моста возят.

— Ну, так я до того моста пешком дойду, — сказал Матлах.

Он поправил висевшие через плечо ботинки и зашагал, держась одной рукой за край возка.

Несколько минут Матлах шел молча. И Попша молчал, перебирая вожжами. Наконец корчмарь спросил:

— Что ж ты, Петре, жинке ничего не писал, только приветы через Грабарева Василия?

— А что, — пожал плечами Матлах, — гроши на марки тратить? Жив, здоров — и слава богу.

— И то правда, — согласился Попша.

— Ну, а у вас тут что? — спросил Матлах.

— Как после пожара, — вздохнул Попша. — Теперь, хвала богу, успокаиваться стало... В Ужгороде вон уже и губернатор сидит, Жаткович Григорий. Кажут, русин, из ваших американов.

— Ну да, — подтвердил Матлах. — Я с ним от самого Нью-Йорку на одном пароходе плыл. Жаткович со своими советниками наверху, а я — чуть пониже.

— Так ты его знаешь? — заерзал от любопытства на сиденье Попша.

— Знаю. Он, как то кажут, адвокатом на великой фирме служил — Дженераль Моторс. Чул про такую?

— Нет, не чул.

— Ну так почувешь. Ох, и великая фирма, матери их

черт! — восторженно выругался Матлах. — Ну, а мистер Вильсон, президент американский, узнал про того Жатковича, поговорил, поговорил, да и выбрал его нам сюда в губернаторы.

Попша пожал плечами.

— А до чего, куме, тому пану Вильсону нам губернатора выбирать? Прибыль какая? Мне то все одно, но только и самим можно было выбрать.

Матлах усмехнулся:

— Тут хозяйского человека надо, край-то какой!

Но Попша не успокаивался:

— До этого часу никто про нас не думал, а может, и не знал, а теперь сам американский президент думает!..

— Не шро тебя, — сказал Матлах, перекладывая тайстру из руки в руку. — Чего ему шро тебя думать? Большевики не так уж от нас далеко, и все дороги туда и оттуда через наши горы идут.

— То правда, — согласился Попша. — Но як бы я был президентом Масариком, куме, я бы обиделся. В мою корчму да чужого корчмаря!..

Матлах хитро посмотрел на Попшу.

— А если корчма не твоя! Ну на твое имя записано, ты палинку наливаешь, а корчма — хозяйская.

— Ну, что ты, куме, — развел руками Попша, — я корчму для шримера, а тут две державы, каждая сама по себе.

— Сама по себе, — усмехнулся Матлах. — Я Америку знаю, куме, всю насквозь. Эгей, и держава! Хозяйская страна! Все под себя, все под себя, только поематривай!..

Он захохотал и вдруг, оборвав смех, словно что-то вынюхивая, спросил:

— С хлебом как у вас?

— Весна плохая... Старые люди урожая не ждуть.

— Опять лютый пойдет.

— Не дай боже!

— А тебе что, куме? У меня корчма, тебе лютый — что небесный дар.

Сказав это, Матлах неморгающим, тяжелым взглядом посмотрел на Попшу. Корчмарь заерзал на сиденье.

— Все вы так, — произнес он смиренно. — К людям с добром, ни сил, ни времени для них не жалеешь, чтобы помочь в худую пору, а они на тебя волками... Одно утешение, что и господь наш к людям с добром шел, а люди его — на Голгофу.

— Про господя это ты зря, — сказал Матлах, обходя лужу на дороге, — его трогать не надо, он сам по себе, а гроши сами по себе. Ну, а если делать добро в такую тягость, так что же ты стараешься?

— Не старался бы, — воскликнул Попша, — да ведь как хлеба не станет, все равно ко мне придут — выручай, — вот и не выдержишь!

Матлах так громко и раскатисто засмеялся, что кони рванули повозку. Смех оборвался так же неожиданно, как и возник, и Матлах начал спрашивать Попшу о пенах на тенгерлицу<sup>1</sup>, на землю. О жене, о том, как она тут жила после его отъезда в Америку, Матлах даже не обмолвился.

Повозка загромыкала по настилу Лесничего моста. Внизу шумела бурая и по-весеннему полноводная река. Мост гудел и дрожал под напором воды, хлопья пены летели во все стороны.

<sup>1</sup> Тенгерлица — кукуруза.

— Ну, куме, садись, — обратился Попша к Матлаху.  
— Ни, — отказался Матлах, — я и дальше пешком пойду.

— Ног не жалко?

— Что ноги, — откровенно признался Матлах, — поноют, поноют и отойдут, а проши выпустишь из кармана, обратно не воротить.

Кортмарь промычал. Даже среди прижимистых селян нашей округи Матлах и в прежние времена славился своей смелостью. Был он хозяином среднего достатка, имел землю, пару волов и худую, дырявую хату, поставленную еще дедом. Другой бы на его месте давно срубил себе новую, но Матлах терпеливо жил в старой, прикупая в хозяйство то лишнего барана, то кабанчика, и все копил и копил. Он и в Америку уехал не от нужды, а полный надежд на богатство, которое должно было там привалить ему в руки, но, судя по тощей тайстре, которую он нес за спиной, богатство не привалило. Однако шел он рядом с возком бодрый и даже веселый.

Показались крайние хаты Студеницы. Возок въехал в ущелье и вскоре остановился у корчмы. Матлах попрощался с Попшей и пошел в своем непривычном для села наряде на другой конец Студеницы, где стояла его, матлахова, хата.

На следующий день всему селу стало известно, что Матлах побил Матлачиху, да так сильно, что соседям пришлось отливать ее водой. За что он ее так побил, никто не знал, и сама Матлачиха никому не рассказывала, а только стонала.

Но после обеда к нам в хату пробралась Оленка. Она прибежала затем, чтобы повидать меня, вернувшегося из такого дальнего и опасного путешествия. Мать была дома. Оленка смутилась и осталась стоять у порога. Полумрак, царивший в хате, скрывал выражение ее лица. Но глазки светились в этом полумраке, как два светлячка.

— Что тебе, Оленка? — спросила мать.

— Ничего, — робко сказала девочка. — Я так...

— Она же мне пришла, мама, — ответил я, — она мне траву на добрую дорогу дала. Слышишь, какой дух от той травы?

Я достал из-за пазухи тряпочку и протянул ее матери, но, вспомнив наставление Оленки — никому не показывать чудесную траву, быстро сунул тряпочку обратно за пазуху.

Мать удивленно посмотрела на меня, затем на Оленку и грустно улыбнулась. Что вспомнилось ей в ту минуту? Может быть, ее детство, может, и она ходила к Желтому камню за этой травой для кого-то?

— Не стой у двери, Оленка, — сказала она девочке, — пройди, садись.

Оленка осторожно прошлась по хате и села на край лавки.

— Как тебе у Матлачихи живется? — спросила мать. — Много работы?

— Но, много! — ответила Оленка. — Я уже теперь и корову могу доить, и волы меня слушаются; вот только дрова колоть еще все не научилась, пробую, пробую — и не выходит.

— А не обижают тебя?

— Матлачиха не обижает, зачем ей меня обижать? Я все делаю, что она скажет, а «сам» не знаю, как будет. Он вчера приехал, вчера же и побил свою Матлачиху... Повечерили да сразу сказали мне спать ложиться. Я ле-

том под оборогом сплю, а как студено — в хате, за печкой. Легла я, а они лампу запалили, сели за стол и говорят между собой. Сначала он Матлачиху все спрашивал, как она жила тут, что продала, что прикупила. А потом вынул из-за пазухи хусточку аленькую, развернул, а там гроши, и стал считать. Считает, считает, а проши новенькие, так и шелестят, прямо как те тараканы, — правда что! Я из-за печки все видела... Кончили считать, вот «сам» и говорит: «Не так уж богато грошей, Юлия». А Матлачиха говорит: «И за то слава богу, на новую хату и кланткие земли хватит». А он ей говорит: «О хате и земле ты сейчас и думать брось, — придет время... А раз мне для другого богато треба грошей». Но для чего, так и не сказал. А Матлачиха свое: «В такой хате и волов держать нельзя, не то что людям жить». Ну, он ей говорит: «Я и волов продам и корову продам, гроши треба». С того и почалось, Матлах одно, а Матлачиха другое. Потом он ее как ударит, как ударит...

Оленка зажмурилась и вдруг соскочила с лавки. Озорное выражение на ее лице сменилось озабоченностью.

— Засиделась я у вас, мне еще воду для волов надо с речки наносить. Прощайте!

И засемила босыми ногами к двери.

...Через несколько дней Матлах свел со двора двух кругорогих волов, продал их Попше, а сам уехал куда-то. Появился он в Студенице неделю спустя. Ночью, тайком, чтобы никто не видел, завернули к нему во двор несколько подвод. Возчики из низинных сел таскали с подвод в волонник, где прежде стояли матлаховские волы, тяжелые мешки с тенгерицей. Никто об этом не знал, и я бы не узнал, если бы не Оленка.

Дрожа от страха, а поляне за нашей хатой рассказывала она мне о таинственных подводах, мешках с тенгерицей и все напоминала:

— Смотри, Иванку, если еще кому расскажешь! До-знается Матлах — и побьет меня, а то совсем выгонит.

Я поклялся молчать.

Несколько дней меня волновала своей таинственностью вся эта ночная история, но вскоре я позабыл о ней.

Только зимой, когда пришел лютый и люди стали собираться к корчмарям за помощью, объявилось, что Петро Матлах еще с весны запасся тенгерицей и, не в пример корчмарям, будет давать ее людям под залог. Сначала никто этому не поверил, но потом слух подтвердился.

Попша, словно ему в чоботы горячих углей насыпали, метался от двора ко двору и кричал, багровея от злости:

— Люди добрые! Не верьте вы этому вельзевулу в образе человеческого!

Но и Матлах не зевал и обзавелся своей агентурой. Многосемейный, замученный нуждой Федор Скрипка ходил по попшинным следам и доказывал добрым людям, как бог милостив, что он послал им Матлаха, и как выгодно селянам брать тенгерицу под залог.

Я словно сейчас вижу его, маленького, быстрого, голубоглазого, в кургузом серяке и войлочной шапочке. Он стоит посреди улицы недалеко от нашей хаты, окруженный сбитыми с толку хозяевами, и говорит, захлебываясь от удовольствия, что его так внимательно слушают:

— Возьмите меня, добрые люди, ну, что в моей хате есть? Рты да рты, девять ртов, и все открыты: заглянешь в них, а там и дна не видать. Ну что я понесу корчмарю



за тенгерицу? А к Матлаху пришел — он сразу к тебе по-американски: «Что пану Скришке треба? Тенгерицу? Пожалуйста, подставляй мешки, пана, а я с тебя ни прошей, ни коровки, ни овцы, только одно — залоговую расписку под землю. Вот как! А со временем вернешь долг, получай расписочку обратно и делай с ней, что хочешь». Ну, не красота ли?

— Подожди, подожди, — спрашивали Скришку хозяева, — а Матлаху что за выгода?

— А Матлаху прямая выгода, — пояснил Скришка, — взял на десять экрон, а вернешь на пятнадцать.

— Видите, как оно, куме! — уже оживленнее и веселее говорили друг другу люди. Всем было очень важно узнать не только свою выгоду, но и выгоду того, кто предлагал им свои услуги. Практический их разум не верил в благодетельство. Со слепым благоговением они признавали чудеса, содеянные святыми, молили божью мать о достатке, чудесном исцелении недугов, искали в ночь под Ивана Купала зарытыеклады, но как только дело касалось хлеба, податей, работы, тут уж они отбрасывали возможность всяких чудес и верили только в то, что было для них совершенно ясным и практически понятным.

Вот почему, как только люди узнали, какую выгоду будет иметь сам Матлах, они перестали относиться к нему с подозрением, но все же долго колебались. А Матлах терпеливо ждал. В полдень, гладко выбритый, в своих желтых американских ботинках и в жилете, надетом поверх белого свитера, с палкой в руках, он степенно проходил по селу из одного конца в другой, вежливо фаскланиваясь со всеми встречными. Ежедневной этой прогулкой в один и тот же час он напоминал о себе людям.

— Американ, — говорил Горуля, завидев издали Матлаха, — идет по селу, как господарь по своему обыстью<sup>1</sup>.

Никто, даже и сам Горуля, не подозревал, какая пророческая правда таится в этих его словах.

Люди колебались, советовались, вздыхали по ночам, оставшись наедине со своими думами. А Матлах все ждал, он твердо верил в успех. Он верил, что если человеку предоставить возможность платить не сейчас, а когда-нибудь потом, он с радостью изберет последнее. В каждом ведь теплится надежда, что в будущем его ждет удача, и тогда ему будет не в пример легче, чем сейчас, вернуть взятое даже с процентами.

Ну что же, пусть еще поговорят, посоветуются, можно подождать.

Но дети просили есть, а матери, с запавшими глазами, стояли перед иконами и шепотом молили о милости, о заступничестве у девы Марии.

Для Матлаха наступило его время. Сначала к нему приходили одиночки, но спустя несколько дней перед его хатой уже толпились люди, как в праздничный день перед церковью. Сам Матлах ходил по хате, а за столом сидел привезенный им специально из Воловца нотарский помощник и писал долговые обязательства и залоговые расписки на землю. Несмотря на многолюдье, в хате было тихо. Селяне, ожидая очереди, прислушивались, как поскрипывает перо в опытной руке нотарского помощника. Тот, кто умел расписываться, долго и мучительно выводил свои закорючки на бумаге, а другие макали большие пальцы в тарелку с разведенной сажей, а уж затем прикладывали

их в том месте на бумаге, куда указывал нотарский помощник.

После всей этой процедуры шли в воловник, где взвешивали тенгерицу.

— Дай бог счастья, — ласково провожал каждого Матлах.

— Дай боже, — отвечал польщенный таким пожеланием селянин. У него и в мыслях не было, что через полтора-два года он уже будет не хозяином своего клочка земли, а арендатором за треть. Никто из них не представлял того, что на долговых расписках обозначен срок и что со временем придется обивать пороги канцелярии и тщетно искать правды, а Матлах... Матлах на все угрозы, призывы к совести и проклятья будет только пожимать плечами:

— Я же вас, куме, с земли не гоню. Работайте на ней, а мне только аренду, больше ничего.

Но в ту зиму никто не думал об этом. Люди спешили к хатам, неся на плечах мешки с тенгерицей. Пусть она пахнет плесенью, пусть ее не так уж много, но от одного сознания, что можно будет поесть горячего токана<sup>1</sup>, легче становилось на душе.

Но в Студенице многим не с чем было идти к Матлаху. И у нас с матерью не было своей земли, если не считать той, на которой стояла хата.

## 5

В ту пору, когда пришел великий голод, мне исполнилось двенадцать лет. Мои сверстники, обычно резвые и быстрые, теперь едва выползали из хат, ослабевшие, с бледными, просвечивающими лицами, и даже мороз был не в состоянии разругнуть их.

Я еще держался, хотя исхудал страшно. Чтобы обмануть чувство голода, я разрезал на куски сыромятный ремешок, размачивал кусочки в соленой воде, в которой мать варила картофель, не счищая кожуру, и жевал эти ремешки целыми днями.

Утром мать клала передо мной на стол несколько картофелин, но сама не притрагивалась к ним. И когда я спрашивал ее, почему она не ест сама, отвечала:

— Я раньше поела.

Так было и в обед и вечером, перед сном: картофелина в кожуре, кусочек овечьего сыра и короткие ответы матери:

— Я уже, сынку, я уже...

Однажды утром, положив передо мной картофель, мать пошатнулась и осела на пол. С трудом я помог ей подняться и дойти до кровати. И только теперь, когда она легла, я увидел, какой странной и незнакомой она вдруг стала. Ноги, которые я начал укрывать овчиной, опухли, руки были тонкие и худые, лицо отдавало желтизной, и тени от ресниц казались зелеными. Она тяжело дышала, смотрела все время в потолок и ничего не говорила.

В тот же день к нам пришел Горуля. Он долго стоял над матерью насушенный, хмурый, затем торопливо выгнул из-за пазухи кукурузную лепешку и протянул ее матери.

Она поблагодарила его чуть заметной улыбкой, но лепешку не приняла. Ей уже не хотелось есть...

<sup>1</sup> Обыстье — двор.

<sup>1</sup> Токан — крутая замешка из кукурузной муки.

Через неделю в распахнутую дверь нашей хаты окутанные клубами морозного воздуха вкатились черт и смерть.

Приплясывая, Федор Скрипка шел впереди, расчищая круг для Горули.

Только при виде их дошла до меня ужасная мысль, что матери больше нет, что голод отнял ее навсегда.

Я не заплакал. Я стоял в углу, пораженный внезапно оторвавшейся мне несправедливостью и полный гнева на голод, еще с детства рисовавшийся моему воображению вельканом с песьей головой и кривыми ногами. Почему бог дал ему такую силу? Почему люди должны умирать от голода? Почему бог помог песоголовцу, а не Миколу? Бог! Он ведь всемогущ и всезнающ, он же видит, где лежит заброшенный ключ, и молчит... Почему?

Я испугался этой мысли, но гнев мой был сильнее страха даже перед богом. Кровь прилила к голове, в ушах стучало, и мне представилось, что это я Микола с Черной горы. Я найду ключ, я отопру людям верховинскую землю, и она зашумит хлебом, и в нашем селе с благодарностью будут произносить мое имя. Так я думал, когда Илько Горуля, пройдясь по кругу, стал размахивать косой. Люди гнули головы, но я не пригибался, я стоял прямо, широко раскрыв глаза...

— Уважай! <sup>1</sup> — крикнул Горуля. — Задену! — И снова замахнул косой.

Она свистнула совсем низко, рассекая воздух, но и на этот раз я не нагнул головы.

Горуля остановился и пристально посмотрел на меня. В глазах его я увидел сначала удивление, затем нечто такое, что мне и сейчас трудно объяснить: суровое, испытывающее... Вдруг он сорвал с лица маску, швырнул ее о земляной пол и, волоча косу, нетвердой походкой пошел вон из хаты.

С похороном он возвращался в село со мною рядом. Позади, в нескольких шагах от него, плетась его жена Гафия, высокая, как и сам Илько, сухопарая женщина.

Было очень холодно. Солнце светило тускло сквозь морозное, тропичное перламутром марево. Мела поземка, тут и там возникали и разваливались ее блуждающие вихорьки, и издали казалось, что это вуряются шокрытые снегом вгорья.

У придорожного креста с распятием Горуле надо было свернуть влево, но Илько обернулся к жене и сказал:

— Ты ступай, Гафиё, я позднее приду.

И запягал со мною дальше.

Куда он шел, я не знал. Да и это было мне безразлично. Я чувствовал себя теперь совсем одиноким.

Вот показался наш двор с распахнутыми настежь жердяными воротами и хижка.

Я пересек двор, и Горуля не отставал от меня. Я вошел в хату, и он вошел вместе со мной.

В хате было выстужено, сумеречно и пусто, как будто здесь не жили многие годы.

Я остался стоять у дверей, как в чужом доме, а Горуля неторопливо прошлепал по хате, затем сел на лавку и долго глядел в запорошенное снегом оконце. Что он там видел и почему так долго глядел, я не мог понять. Но вот Горуля отвернулся от окна и, взглянув исподлобья, спросил:

— Как будешь теперь жить, Иванку?

— Уйду, — ответил я.

— Куда ж ты уйдешь?

— Ключ искать.

— Какой?

— Миколин, чтобы зсмыю отпереть.

— Та-ак, — шротянул Горуля, не сводя с меня испытующего взгляда, — доброе дело. — И вдруг под его усами шевельнулась знакомая злая, ничего не падающая усмешка. — Але ключа того, Иванку, нет и не было никогда... Вот, вот, никогда не было. Его люди выдумали себе на утешение. Ох, и выдумщижи!

— Неправда! — крикнул я, полный негодования. — Не выдумал никто про ключ!

— Как же, — возразил Горуля, — я сам и выдумал да матери твоей про него рассказал, когда мы с нею еще совсем молодыми были, а она уж тебе рассказала...

Он опять отвернулся к окну и опять долго глядел в него и, казалось, позабыл про меня. Но он не забыл. Тяжело поднявшись с лавки, Горуля стал посреди хаты. Лица его в быстро надвинувшихся сумерках уже не было видно.

— Иване, чуешь меня? — послышался глуховатый голос.

— Чую, — отозвался я.

— Землю надо отворить, — сказал Горуля, — непременно, а как? Ты и думай, как... А жить будешь у меня. Живи себе, учись дальше и все думай, как отворить. Ну, пошли!

## 6

«Время пройдет, как поточком зальет», — говорят в наших горах.

Но есть у времени другая сила. Проходят годы, и то ли признание, сделанное кем-либо, то ли документ, извлеченный из ставшего доступным архива, освещают минувшее новым светом, и ты вдруг видишь, что событие или целый период жизни, давным-давно определившиеся в твоём сознании, имели еще и другую, за семью замками скрытую от тебя сторону.

Вот и мне приходится теперь делить свой рассказ о школьных годах на то, что было явным, и то, что было от меня, да и от других, за семью замками, но что в конце концов стало известным много лет спустя.

...Я ученик Мукачевской гимназии. Мне пятнадцать лет. Угловатый, стриженный под машинку, с натруженными, большими руками, хмурый, каким меня отражает поставленное в дальнем углу зеркало, стою я посреди директорского кабинета. Кабинет на четыре окна, просторный, и гулко в нем, как в церкви.

В нескольких шагах от меня за столом, в деревянном вертящемся кресле, под портретом пана президента Масарика, сидит пан Мячик — так гимназисты прозвали директора гимназии.

Румяный, лысый, положив на зеленое сукно стола пухлые ручки, он смотрит на меня своим водянистым, блуждающим взглядом, от которого стынет кровь в жилах учеников гимназии.

— Рассказываетесь ли вы в своем поступке?

Я давно жду этого вопроса и отвечаю:

— Нет.

Лицо директора из розового делается красным, водянистые глаза мутнеют: чудится, они затянуты бельмами;

<sup>1</sup> У в а ж а й — предостерегающий окрик.

— Вы хотите себя поставить вне стен нашей славы гимназии? Вы понимаете, что вам прозят?

Я молчу. Сердце мое начинает ныть, и мне кажется, что оно становится совсем маленьким.

Пухлые ручки директора исчезают с зеленого сукна.

— В последний раз спрашиваю вас, Белинец. Раскаиваетесь ли вы в своем мерзком поступке?

— Нет, — повторяю я с решимостью. — Нет. Делайте со мной, что хотите. Я поступил справедливо, пан директор.

Мячик вскакивает с кресла.

— Вы еще смеете дерзить! — кричит он. — Ступайте!.. Ступайте вон! — И отворачивается к окну.

Занятия окончились. В гимназии пустынно, только уборщицы вытирают мокрыми тряпками исписанные мелом классные доски.

За углом меня ждет Василий Чонка, мой одноклассник и товарищ. Мы сидим с ним за одной партой, и у нас нет друг от друга тайн. Чонка слышит одним из способнейших учеников гимназии. У него неудержимая фантазия и одна страсть — море. Бог его знает, откуда взялось это у сына краснодеревщика из Хуста — городка, окруженного горами, — но вот взялось! Ни разу в жизни не видел моря, он может говорить о нем часами.

Чонка бросается мне навстречу:

— Ну как, Иванку?

— Худо.

— Исключат?

Я молчу.

Конец сентября, а день теплый и такой погожий, будто до осени еще очень далеко.

Мы идем с Чонкой по тенистой Вокзальной улице к железной дороге. Там, на окраине Мукачева, моя квартира: койка в темном чулане, из которого никогда не выветривается запах прокисшего вина. За квартиру я не плачу ничего, но ежедневно занимаюсь с сыном хозяйки, помогая ему готовить уроки. Он старше меня на два года, туш, ленив, нечист на руку и учится в четвертом классе гражданской школы. Хозяйка, пани Елена, вдова, содержит винный погребок. Кроме того, эта тощая молодящаяся женщина, скупая и хитрая, принимает гостей, или, как она их называет, клиентов. Я бы рад бежать отсюда куда глаза глядят, но куда? Где ждет меня бесплатный угол? А для того, у кого часто не хватает нескольких геллеров<sup>1</sup> на обед, это много значит.

Вокзальная улица длинна. Чонка плетется рядом со мной, опечаленный и задумчивый.

— Что же все-таки сказал тебе Мячик?

— Спросил, раскаиваюсь ли я в своем поступке.

— А ты ему ответил «нет»?

— Так.

— А если бы ты сказал «да», тогда бы все обошлось.

Тогда...

— Замолчи! — обрываю я товарища.

Он смолкает, но ненадолго.

— Что же теперь?

— Я и сам ничего не решил.

Чонка отбрасывает с пути несколько опавших желтых листьев, затем останавливается и шепчет:

— Знаешь что, Иванку, — убежим!..

— Куда?

— В Россию.

— В Россию?

На мгновение и я поддаюсь этому порыву.

— Далекое, — вздыхаю я. — Это очень далеко.

— Далекое, — соглашается Чонка. — А там, Иванку, тринадцать морей и два океана...

Мы расстаемся у вокзала. Я чувствую, как хочется Чонке чем-либо утешить меня, найти какой-то выход, но нет у него слов, и придумать он ничего не в состоянии.

Прощаемся молча. Чонка возвращается в город, он живет возле гимназии. А я бреду домой. Напряжение последних двух дней сказывается только сейчас. Я начинаю ощущать усталость и разбитость во всем теле. Хочется остаться одному, лечь на койку и ни о чем не думать. Это даже хорошо, что в моем чуланчике совсем темно.

У калитки меня встречает хозяйка. Тощая, как жердь, с нарумяненным лицом, она затараживает проход. Я останавливаюсь и жду, что пани Елена посторонится, но она и не думает сдвинуться с места. В ее зеленых нагловатых глазах испуг.

— Я вынуждена вам сказать от квартиры, — выпаливает она. — Два года я думала, что вы порядочный человек, а вы, вы, оказывается, хотели убить сына пана Бовача из Батевы? Может быть, вы еще и красивый?.. Я не могу рисковать репутацией моего дома и моего сына. Я прихожу в ужас при одной мысли о том, кто жил в моем доме и учил Петрика!

Доказывать этой женщине мою правоту и бесполезно и противно.

— Ступайте к черту со своим Петриком и своей репутацией!

Пани Елена глотает воздух, пятится и захлопывает калитку, а спустя две-три минуты через забор летит моя корзинка с запыханными в нее пожитками и книгами.

За железной дорогой старый, заброшенный фруктовый сад. Стоит посреди сада скрытая в зарослях полуразвалившаяся сторожка. Это — облюбованное мною и Чонкой место. В погожие дни весны и осени приходим мы сюда учить уроки, а то и просто помечтать, лежа на ворохе скошенной нами самими травы. Здесь угромно, тихо, немного таинственно и чем-то напоминает мне родную Студеницу.

В сторожку прихожу я и теперь, валюсь на ворох сена и лежу неподвижно, прикрыв глаза... Воспоминания одно за другим проносятся передо мной.

Ранней осенью два года назад привел меня Горуля в Мукачево. Мы шли от Студеницы пешком, чтобы сэкономить несколько крон, перекинув через плечи тайстры, в которых лежала припасенная на первое время еда, башмаки, купленные мне Горулей, холщовые рубашки и куртка, заботливо перешитая Гафией из праздничной егерской куртки Горули.

Мы шли босиком, чтобы сберечь обувь. Только перед самым городом Горуля велел мне обуться и надеть куртку с зелеными суконными отворотами.

После смерти матери я поселился у Горули.

Гафия приняла меня в дом настороженно, будто боялась хоть в чем-нибудь проявить свою бывшую ревность и

<sup>1</sup> Геллер — мелкая разменная монета.

обиду, но в то же время честная, не умеющая кривить душой, она и ласки ко мне не проявляла.

Я это чувствовал и держался замкнуто.

Тяжелее всех было Горуле, он зорко присматривался к нам обоим, готовый в любую минуту погасить малейшую вспышку неприязни.

Но то ли время, то ли нарастающее материнство постепенно смягчили Гафию. Я даже не заметил, как это случилось. Гафия стала беспокоиться обо мне, она напоминала Горуле, что «хлопчику нужны новые постолы», а в разговорах с соседками называла меня «наш Иванко».

Постепенно я привязался к ней, и Горулю это очень радовало. Теперь не проходило и дня, чтобы Горуля не заводил разговора о будущем моем обучении. То, к чему стремилась последние годы мать, передалось ему и стало частью его жизни.

Меня не надо было заставлять сидеть за книгами: я сам к ним тянулся, выпрашивая их не только в Студенице, но и в окрестных селах. Желание учиться крепло во мне с каждым днем и в конце концов завладело всеми моими мыслями.

Сколько я воды перетаскал Попше и другим корчмарям в Быстром и Потоках! Сколько полов им перемыл и хлевов вычистил, чтобы получить несколько листов разноцветной бумаги для письма и какую-нибудь книжечку, пылящуюся на полках в лавочках при корчмах!

Так в поисках книг нашел я себе и нового учителя взамен Горули, знания которого были для меня уже недостаточны.

Учителем моим стала попадья, недавно приехавшая в Студеницу.

Новый поп был человеком пожилым, а жена его — женщиной молодой, красивой, довольно образованной, но пьющей. Растила она двоих ребят, трехлетних мальчиков-близнецов, и подыскивала себе няньку.

На селе поговаривали, что дети эти не пана превелебного и что нужда заставила женщину пойти за старика. Потому попадья и пьет.

Как-то среди зимы осмелился я пойти к попадье просить книгу.

Узнав, что я хочу учиться, она задумалась и вдруг сказала:

— Иди, хлопчик, ко мне моих мальчиков нянчить, а я тебя сама учить буду.

— Не могу, пани, — ответил я, — меня наши студеницкие засмеют.

Но соблазн был велик. Вернулся я домой и рассказал о предложении попадья Горуле.

— Что ж, Иванку, — выслушав меня, вздохнул Горуля. — Як бы было нам с чего выбирать!.. Да и не на век же ты в няньки уходишь, а учиться надо. Попадья, какжут, раньше учителькой была в городе.

Так и стал я у попадья нянькой и учеником.

Работать она заставляла меня много, но учила хорошо. Я жадно и быстро схватывал то, о чем она мне рассказывала, и часто сам забегал по учебникам далеко вперед.

Попадья расхваливала мои способности Горуле, удивлялась им, и Горуля очень гордился мной.

Опасения мои насчет студеницких хлопчиков оправдались. Мальчишки дразнили меня:

— Иванку, нянька, хусточку надень!

Сперва я выдался на них с кулаками, а потом махнул рукой.

Так прочутился я год и, как говорила попадья, за это время прошел столько, сколько иные не успевали за три года.

Но тут стряслась беда.

Учительница моя стала запивать чаще и сильнее. Красивое лицо ее оплыло, глаза помутнели. Все было для нее безразлично, кроме палинки, которую носила ей тайком жена корчмара.

— Пани, не пейте, — спросил я учительницу. — Не надо.

— Ничего ты не понимаешь, Иванку, — отвечала она, — а поймешь, сам пить будешь.

Кончилось тем, что пан шревелебный должен был отвезти жену в больницу.

Учиться в селе мне уже было негде и не у кого. Поговаривали, что в будущей осени откроется сельская школа в Быстром, но учить там должны были начинать с азбуки, и тогда у Горули возникло решение послать меня в Мукачево, в гимназию.

Это было время после жестокой, кровавой борьбы. Возникшая по Версальскому договору буржуазная Чехословацкая республика, в состав которой был включен наш край, становилась, как говорится, на ноги. Слово «демократия» склонялось на все лады. В самых глухих селах появились бесплатно рассылаемые портреты президента Масарика, держащего в руке зеленую веточку — символ добра, справедливости и умиротворения.

Это значение веточки объяснил пришедшим в сельскую управу студеницким селянам приезжий чиновник. И я слышал, как, выйдя из управы, Горуля сказал деду Грицану:

— Как бы у той веточки, деду, листочки быстро не облетели.

— Эх, — горько усмехнулся старик. — Я видел, Ильку, как и такие, с листочками, человека до крови запорол.

Жить нам с Горулей и Гафией стало еще труднее. Постоянной работы у Горули не было. Он ходил по окрестным селам и мастерил там все, что придется.

Когда в Студенице узнали о решении Горули послать меня учиться в город, начались пересуды. Одни посмеивались, другие недоуменно разводили руками.

Пришел Федор Скрипка.

— Ты что, куме, — спросил он Горулю, — дурить или шуткуешь?

— Не дурю и не шуткую.

— Эхе! Значит, гроши завелись. Клад нашел.

— И клада не нашел и прошей нема, — ответил Горуля, направляя затупившуюся шилу.

— Что же тогда? — смеялся Скрипка.

— А ничего. Хлопца учить надо. Вот поведу в Мукачево, и, даст мать боже, будут его там учить.

Скрипка задумался.

— Неладно это, Ильку, Мариного хлопца на пана учить. Выучишь, а он, глядя, и не посмотрит потом в твою сторону. Или ты на что надеешься?

— На себя надеюсь и на хлопца самого.

— А жить он на что будет? — спросил Скрипка. — Был бы у тебя достаток. А достаток ведь твой, что мой... Может, тут ты тоже на кого надеешься?

— И тут на себя и на хлопца, — спокойно отвечал Горуля.

Но я-то знал, как гложет его забота.

Иногда, вернувшись поздно домой, Горуля о чем-то шептался с Гафней, и если назавтра утром просыпался в хорошем расположении духа, это означало, что где-то ему повезло с заработком. Но большей частью дальние походы по селам были мало успешны.

— Вот как оно, Иванку, — говорил Горуля, — и руки есть, чтобы десятерых прокормить, и голова не дурнее других, и душа к работе тянется, а что толку?

Видя, как трудно бывает Горуле, я однажды решился и сказал ему, что учиться не поеду, а буду искать себе хоть какую-нибудь работу и что не нужно ему заботиться о моем учении.

Горуля выслушал меня внимательно, а затем спросил:

— А земля?.. Ты же ее отворить задумал... — И добавил: — Да и не для тебя все хлопочу, человек, бог с тобой! Я для себя, мне так жить веселей.

Может быть, ему и в самом деле было так веселее жить?

7

Город втянул нас в свои пыльные улицы, полные грохота подвод, человеческих голосов, суеты, и я, верховиинский хлопчик, никогда не ездивший дальше Воловца, не мог представить себе в ту минуту города больше Мукачева. Мне казалось, что люди со всего края сошлись на его улицах.

Привыкший к тому, что надо здороваться при встречах даже с незнакомыми людьми — так было заведено в селах, — я и здесь посчитал необходимым держаться этого правила. Но, к моему удивлению, никто не отвечал на мои приветствия. Все было ново, необычно, но ни эта новизна, ни необычность не могли отвлечь меня от цели, ради которой мы пришли сюда с Горулей. Пройдет несколько дней, думал я, Горуля вернется в Студеницу, а я останусь здесь один, учеником гимназии. А вдруг не примут? Могут ведь и не принять. Мне было все равно, как и где жить. Я готов был сносить любые лишения, только бы учиться.

Горуля словно читал мои мысли:

— Ничего, Иванку, все будет добре. Не пропадем, а? И квартиру подыщем. Может, тебя сам Федор Луканич до себя примет, он человек простой, хоть и дуже грамотный. Сколько мы с ним дыма наглопались и под Чопом у Тиссы и в горах, когда дрались вместе за советскую Венгрию. Вот разыщем мы его по адресу, так увидишь, как старые друзья встречаются.

О Федоре Луканиче я уже не раз слышал от Горули. Был он раньше учителем, или, как тогда называли, профессором, в ужгородской семинарии, недолюбливаемым начальством за вольнодумство. В годы войны его из семинарии уволили и отправили на фронт. Возвратился он домой, в Мукачево, в девятнадцатом году, в те самые дни, когда для защиты молодой советской Венгрии формировались отряды русинской Красной гвардии. Луканич вступил в один из таких отрядов, где и встретился с Горулей.

Луканича быстро оценили, как умелого, могущего увлечь за собою оратора, а главным образом как образованного человека. Нужда в таких, как он, была велика. Его уже собирались перевести в органы Комиссариата просвещения, но тут начались кровопролитные сражения с двинувшимися в Карпаты войсками Малой Антанты.

В бою у Латорицы Горуля спас Луканичу жизнь. Раненого и потерявшего сознание, он пронес его незаметно по трудно проходимому и крутому взгорью сквозь вражескую цепь. Это событие сблизило Луканича с Горулей, и, когда после разгрома русинской Красной гвардии они прощались в горах под Студеницей, Луканич сказал:

— Если останемся живы и встретимся, я всегда вам должник, Ильку, помните об этом. Нужна будет помощь, — рассчитывайте на меня.

Долгое время Горуля ничего не знал о Луканиче, но в конце концов прослышал, что тот жив и учительствует в Мукачевской гимназии. На клочке бумажки был у Горули записан его адрес, и мы шагали теперь через весь город к Луканичу.

Дом, у которого, взглянув на бумажку, остановился Горуля, был подновленной, но стародавней постройки. Всего три маленьких оконца глядели на тихую, зарастающую травой улицу, но зато по двору он тянулся далеко, и несколько дверей выходили на деревянную, выкрашенную в темный цвет и обвитую виноградом галерею.

День кончался. Надвигались сумерки. Полная подслеповатая женщина пропустила нас во двор и крикнула:

— Пане!

А хозяин уже стоял на пороге, мешковатый, начинающий полнеть мужчина лет сорока, с залысынами, делаящими его лоб высоким.

— Пане профессор...

— Горуля! Илько!

Луканич, как мне показалось, смутился, но быстро привлек к себе Горулю и обнял его.

— Радый я, что свиделись, — сказал Горуля.

— Что и говорить! — отозвался Луканич, вытирая платком шею и лицо, словно ему было жарко, и стал приглашать нас в дом.

С галереи мы прошли на кухню, обширную комнату — в ней свободно могли вместиться две таких хаты, как наша. Хозяин зажег свет, стал двигать стульями, усаживая за стол Горулю, и лишь теперь обратил внимание на меня:

— Чей такой будет?

Горуля замялся:

— Ну, мой.

— Подождите, — напряг память Луканич, — я что-то не припомню, чтобы у вас был хлопец.

— Раньше не было, верно, — подтвердил Горуля, бросив на меня ободряющий взгляд. — Раньше не было, а теперь есть Белвинцев Иванко. Учить вот привел... Темно ведь живем.

— Да-с... — неопределенно произнес Луканич и вдруг, повернувшись в мою сторону, начал расспрашивать меня о том, куда я хочу поступить, где учился раньше и что я знаю.

Сначала отвечал я робко и скованно, но благожелательный интерес, проявленный ко мне Луканичем, расположил меня к нему, и ответы мои стали внятнее и смелее.

Вошла женщина — прислуга Луканича — и поставила на стол стеклянный кувшин с вином и тарелки с тонко нарезанными ломтиками мяса.

Горуля с Луканичем выпили за встречу, даже мне налили маленький стаканчик вина. Потом начались воспоминания; собственно, вспоминал больше Горуля, называя имена неизвестных мне, но, видимо, дорогих ему людей, а Луканич только кивал головой и говорил:

— Да, помню.

Пили мало, точно чего-то ждали. Наконец Горуля спросил:

— А вы как теперь, пане профессор?

— Что ж я, пришлось писать пану министру в Прагу... Допустили вести урок истории в старших классах гимназии.

— Я не про то, — с сожалением произнес Горуля и вздохнул. — Вон как все обернулось! Шли люди домой, а заглали их на чужой двор.

— Но и чужие дворы бывают разные, — проговорил Луканич. — Прежде всего на жизнь, а в особенности на судьбу народа надо смотреть здраво. Да, двор чужой, но это все-таки двор государства, создающего демократию, какой не знала Европа! Ну, а что автономии нашему краю еще не дали, так ее рано давать. Народ наш очень отстал, Горуля. Конечно, это не его вина. Силен и слишком долго был гнет монархической Австро-Венгрии. Нам надо достичь культурной и политической зрелости, а тогда — автономия!

— А я так чул, — с притворной наивностью произнес Горуля, — будто все это брехня, а автономию не дают потому, что красных боятся, а? Дуже боятся, что изберет народ краевой сейм, а в нем большинство красных.

Луканич насунился.

— Я так чул, — добавил, пожав плечами, Горуля. — Не знаю, правда ли?

Нет, Горуля знал, что это правда, и для меня это стало правдой, только гораздо позже. Не могли и боялись тогдашние правители Чехословакии дать автономию краю, который они про себя называли красной Вандеей. Горную нашу сторону наводнили чиновники. Самых темных и реакционно настроенных людей, которых правители республики считали неудобным использовать на службе во внутренних областях страны, отправляли к нам. Над всем этим благостно парил портрет президента-демократа с зеленой веточкой в руке.

Я следил за разговором Луканича с Горулей, как следят за поединком, хотя и смутно понимал его смысл.

— Все это не так, Горуля, — недовольно морщась, говорил Луканич. — Мы имеем право выбирать своих представителей в парламент. У нас легальны все партии, даже коммунистическая. Была ли такая демократия раньше, при Австро-Венгрии, когда нас за людей не считали, скажите, было или нет?

— Нет, пане, не было, — согласился Горуля.

— Вот видите! — торжествующе воскликнул Луканич. — Надо всегда сравнивать настоящее с тем, что осталось позади.

— Хе, хе, — как бы виновато засмеялся Горуля и мотнул головой, — а человек все норовит, пане, на худое не обращиваться, а вперед, на лучшее смотреть. Да и как ему туда не смотреть, если он был без земли, так без нее и остался, был голодным — и сейчас голодует, был над ним пан — и сейчас он над ним, только что капелюх и штаны у пана другие... Нет, пане профессор, в какую клетку соловья ни сажай, хоть в золотую, он все равно петя не будет.

— Вы хотите все и сразу, — развел руками Луканич.

— Ага, все и сразу, — подтвердил кивком головы Горуля: — землю, работу, владу, волю...

Он подвинул к себе налитый вином стаканчик и, приподняв его, сказал:

— Выпьем, пане профессор, за Михайлу Куртинца. За мертвых, кажут, не пьют, но он для меня живой.

Выпили.

— Напрасно погибли люди! — сказал Луканич.

Брови у Горули дрогнули.

— Напрасно? — переспросил он и отчужденно посмотрел на Луканича.

— Нам ничего не принесла эта борьба, — продолжал Луканич, — кроме тысяч преждевременных могил, а люди могли еще жить и жить среди своих близких, среди...

— Нет, пане, — прервал хозяина Горуля, — на этой крови народная доля взойдет, а вы...

Он не договорил, а переждав, пока уляжется в нем волнение, обратился ко мне:

— Надо нам собираться, Иванку, час поздний.

Луканич уговаривал нас остаться ночевать, обещая завтра поговорить насчет квартиры для меня, но Горуля держался своего.

— Спасибо, спасибо, — твердил он, — а о ночлеге мы уже договорились, как сюда шли, там ждут нас...

Я не мог понять причины упорства Горули, зная, что ни о каком ночлеге мы нигде не договаривались, а, наоборот, рассчитывали на несколько дней остаться у Луканича. Мне даже жаль стало огорченного нашим отказом хозяина.

Только на улице, отойдя несколько кварталов от дома Луканича, я спросил хмуро шагавшего Горулю:

— Что же мы, вуйку, ушли, человека обидели?

— Не лезь не в свое дело! — гневно оборвал меня Горуля. — Он сам рад, что мы ушли.

Ночь провели мы в зале ожидания Мукачевского вокзала.

Фотография на третьей газетной полосе. Пять хлопчиков с застывшими и почему-то похожими лицами, словно пятеро близнецов, с книжками в руках стоят, вытянувшись, у подъезда гимназии. Я среди них, второй слева. Учебниками мы еще не обзавелись, и нам сунули в руки тяжелые, как плиты, книги с золотым обрезом — томы энциклопедии на немецком языке. Впоследствии я видел их за стеклом шкафа в кабинете директора.

«Поздравьте этих мальчиков с Верховины! Они выдержали испытания и приняты в гимназию, — было написано под фотографией в воскресном номере газеты. — Отеческая забота республики и ее высокие демократические принципы открыли путь к образованию для детей всех слоев населения Подкарпатской Руси. Пять мальчиков (далее следовали наши фамилии, имена, названия сел) — это только первые ласточки. Пожелаем им счастливого пути на ниве знаний!»

Горуля разглядывал фотографию, несколько раз перечитывал подпись под ней, потом улыбнулся и сказал, складывая газету:

— Боятся нас, Иванку...

Меня огорчило это снисходительно-насмешливое отношение Горули к фотографии, которой я в глубине души гордился. Он и к поздравительной речи директора, произнесенной после окончания испытания, тоже отнесся с насмешкой. «Почему так? — думал я. — Что заставляло Горулю во многом видеть какой-то скрытый, нехороший смысл, не доверять словам людей?» Это сбивало с толку, омрачало мою долгожданную первую радость, и я впервые

подумал о том, что Горуля может быть несправедливым.

Мог ли я знать, что за семью замками, в папках министерства просвещения, хранилась обнародованная ныне докладная записка.

Я перечитываю ее слежавшиеся, тронутые архивной желтизной листки, присланные мне недавно чешскими друзьями из Праги.

Сбросив в прихожей утомительные, но, увы, необходимые для него демократические ходули и оставшись, как говорится, в домашних туфлях, правительственный чиновник писал просто и ясно:

«Открытие гимназий в Подкарпатской Руси с преподаванием на родном языке имеет весьма благожелательный для нас резонанс в крае. Но опасаться наплыва учащихся из низших классов населения не следует. Материальный уровень этих слоев настолько низок, что даже при бесплатном обучении они не в состоянии учить своих детей. Что касается поступивших, то число их невелико, да и оно со временем, несомненно, сократится. Что же касается тех, кто закончит курс гимназии, то следует уже теперь приложить все усилия к тому, чтобы они стали нашей опорой среди русинов».

Горуля пробыл со мной в Мукачево несколько дней. Приютил нас у себя на первое время чех Ладислав Стрега — железнодорожный стрелочник. Он и рекомендовал меня потом в респетиторы к сыну пани Елены.

Собрался Горуля домой в Студеницу в воскресенье под вечер. Но раньше, чем тронуться в путь, он достал из-за пазухи трюпку, в которую были завернуты сделанные им для меня сбережения. Это ради них он ходил по селам в поисках работы и о них, возвратясь домой, шептался с Гафией.

— Небогато, Иванку, — сказал Горуля, — но на первое время хватит. Ты уж смотри, чтобы хватило, сам жить начинаешь. — И ласково провел рукой по моей стриженной голове.

Расставаться нам было тяжело, особенно остро я почувствовал это в последнюю минуту. Горуля то хмурился, то улыбался, давая мне последние наставления, я же крепился, чтобы не заплакать, и кусал нижнюю губу.

— Ну, не дури, — ласково ворчал Горуля. — Не дури, чуешь?.. Эх ты, Никола с Черной горы!..

## 8

Я ученик Мукачевской гимназии.

Нас держат строго, за нами следят, и слова, какие мы чаще всего слышим, — это «демократические принципы». Их часто произносит профессор географии Андрей Николаевич Спиридонов, эмигрант, бежавший в девятнадцатом году из России; их твердит профессор математики Зинченко, грузный, страдающий одышкой мужчина, о котором говорили, что он был товарищем министра в правительстве Петлюры. О великих демократических принципах республики часто говорил директор гимназии. За них молился мы на уроках закона божьего.

Жить приходилось трудно, в постоянной нужде, хотя Горуля и помогал мне, чем только мог. Он брался за любую работу, лишь бы сколотить для меня несколько крон.

Но не так просто было найти работу даже такому мастеру на все руки, как Горуля.

И, чтобы помочь мне учиться, он занялся охотой в графских лесах, сжимавших кольцом Студеницу.

Селянин с ружьем в шенборновских охотничьих угодьях, куда даже дети не смели ходить по ягоды?! Велик риск, упаси тебя бог попасться!

Шенборновские лесники и объездчики выслеживали Горулю, несколько раз даже устраивали облавы в лесу, но Горуля ловко уходил от них со своей добычей в такие дебри, куда никто из графской челяди не смел сунуть носа.

Меткий стрелок, он бил медведя, горную козу, оленя. Шкуры покупали у него наводнявшие лесистые Карпаты туристы.

Иногда среди зимы Горуля появлялся в Мукачево. Дорога от нашего села была дальняя, трудная. Но Горуля никогда не признавался, что пришел навестить меня, а всегда говорил, что в Мукачево он по делу.

До меня доходили смутные слухи об опасной охоте Горули, я спрашивал его самого об этом, но он делал удивленное лицо, начинал ворчать, злиться и все твердил, что это люди из злости на него дурницы плетут.

Но однажды, когда я особенно упорно допытывался правды, Горуля уступил и признался:

— Ну, постреливаю мало...

— Вас и называют браконьером! — воскликнул я с досадой.

Горуля встрепенулся, затем вздохнул и поглядел на меня с таким укором, что я не выдержал его взгляда и опустил голову. И до сих пор этот взгляд жжет меня, и это слово, брошенное мною Горуле с упреком, вызывает чувство глубокого стыда.

— Браконьером? — переспросил Горуля. — Кто меня так называет, отвечай? Паны да их выслужни! А разве я убил хоть одного зверя в запретный срок? Для панов зверь — забава, им бы лишь потравить, а для меня то не забава, Иванку... И леса те не графские. Это паны украли у меня леса!..

А на Горулю тем временем надвигалась в Студенице беда, но не с той стороны, откуда ее можно было ожидать.

Из всех Овсаков, убивших в сарае Михайлу Куртинца и его товарищей, во время пожара уцелел только один староста. Сбив с ног жену, которая пыталась выпрыгнуть из окна горящего дома, он выпрыгнул сам. Зная, как ненавидели Овсаков в селе, новые окружные власти держали бывшего старосту в немилости, несмотря на то, что Овсак из кожи лез, чтобы выслужиться и войти к ним в доверие. Жил он тише воды, ниже травы, лебезя перед всеми, даже перед Горулей, которого подозревал в поджоге. Но ненавидел его и только ждал случая, чтобы свести с Горулей счеты.

Время шло, и в конце концов Овсаку удалось завоевать расположение новых властей в округе. Овсак поднял голову, и в окружном уряде завели следствие о пожаре. Улик против Горули не было, но искали их настойчиво, тем более что в уряде считали Горулю человеком неудобным и рады были поводу придраться к нему.

Поиски улики велись осторожно, тайно. Боясь спугнуть Горулю, его даже ни разу не вызывали на допрос. Но Горуля проведаль о том, что затевают против него Овсак и окружные чиновники. Рассудив, что могут пустить в ход лжесвидетелей и тогда не избежать беды, никому, кроме Гафии, ничего не сказав, он ушел в Словакию.

«Иванку, — писал мне Горуля, — стряслась со мной беда и погнала из Студеницы в чужой край, и когда доведется нам увидеться, не знаю.

Горы тут зеленые, как напш, и люди бедуют в них, как у нас. Письмо ты это порви, а если будет кто спрашивать про меня, говори, что ничего не знаешь. Обо мне ты не беспокойся, я уж как-нибудь дождусь своего дня. Хожу по наймам, с лета погону по реке плоты. А ты учись, хлопчику, смотри, не вздумай бросать. А я тебя не оставлю, буду помогать, чем могу.

Как будут у меня гроши, пришлю их на имя Стреги Ладислава, того самого чеха с железной дороги, у которого мы жили, как пришли в Мукачево. Ты к нему сходи, он человек нашего поля, я ему написал. А гроши мои часть оставляй себе, а часть отсылай в Студеницу, к старой. От меня писем частых не жди, долго ли до беды с этими письмами. Храни тебя боже».

Письмо принесла мне утром жена Стреги. Я несколько раз перечитал испсанный карандашом листок и удрученный пошел в гимназию. Мне было в этот день не до уроков, объяснения преподавателей я слушал рассеянно и еле дождался конца занятий. Мысли мои были все время с Горулей.

\* \* \*

Обмотав ноги ветошью, чтобы уберечь их от ударов молотка, под дождем и солнцем от темна до темна сажу я в обочинах горных дорог и дроблю камень. Так целое лето. Лицо, руки, обнаженное до пояса тело иссечены мелкими и острыми, отлетающими от камней осколками.

Работа слишком тяжела для моих лет, а одну треть того, что мне за нее платят, удерживает в свою пользу дорожный мастер.

— Это несправедливо, — сказал я однажды мастеру.

Он равнодушно посмотрел на меня:

— Дело твое, хлопчику. Я тебя не неволю. Можешь искать другую работу. А твое место не остынет. Охотников много.

Я и сам вижу, что охотников много. Изможденные люди часами простаивают у обочины шоссе и словно ждут, не свалится ли кто-нибудь из дробильщиков, чтобы занять его место. Ну, а другую работу, где мне ее искать? Здесь хоть за ночь платить не надо. Живу в шалаше у самой дороги.

И я терплю, а мысль, что удастся скопить немного денег на зиму, поддерживает мои силы.

Осенью, когда начинаются занятия, после гимназии я ухожу за город, на Красную гору. Там винницы, и в пору винобрания владельцам нужны подносчики, сборщики винограда и давилщики к прессам. Ходят со мной на работу почти все неимущие гимназисты.

Мы работаем и беспрерывно поем одну песню за другой. Петь нас заставляет хозяин, чтобы не ели винограда.

От Горули письма редки, и те несколько крон, что ему удастся прислать мне, я пересылаю Гафии. Дома она не живет, а все ходит по наймам, как некогда ходила моя мать.

Единственное, что скрашивало нужду и ради чего я готов был терпеливо сносить худшее, — это моя учеба.

Я учился с жадностью и торопился, — да, именно торопился! Мне все казалось, что гимназия — это случайно

выпавшая на мою долю удача, которая вот-вот может кончиться, и надо спешить, спешить узнать как можно больше. Меня хвалили, вынуждены были ставить в пример, и даже профессор Луканич, встречая меня в коридоре, говорил:

— Очень рад за вас, слышал. Очень рад.

...И это должно для меня теперь кончиться... Гимназия, занятия, надежды — все, что далось с таким трудом мне и Горуле... Я до боли сжимаю кулаки. Матьер боже, что же ты?.. Нет, просить директора не пойду. В чем мне раскаиваться перед ним, если я прав?..

...Произошло это три дня назад. После конца занятий в гимназии, прежде чем отправиться на винницу, я зашел в кухмистерскую, где обычно столовались иногородние гимназисты, съесть тарелку супа. В кухмистерской было много посетителей, и я сел на свободное место у столика, за которым пили кофе старшеклассники и среди них футбольная знаменитость гимназии — ученик седьмого класса Петро Ковач. Рослый, румянощекий, с бесцветными, ничего, кроме тупости и самодовольства, не выражающими глазами, он считал себя неотразимым. Слава футболиста кружила его и без того глупую голову. Был он сыном богатого хозяина и заправилы аграрной партии во всей Батевской округе. Ковач всегда ходил в сопровождении поклонников его футбольного таланта, а так как у Ковача водились еще денежки, то и прихлебателей. Он был заносчив, много мнил о себе, его не любили, но боялись.

— Послушай, Белинец, — снисходительно обратился ко мне Ковач, — пересядь-ка, дружок, за другой столик, вон там освободился.

— Это почему? — спросил я спокойно. — Разве место кем-нибудь занято?

— Нет, не занято, — сказал Ковач. — От тебя пахнет, дружок, навозом.

— Чем? Чем? — переспросили его остальные.

— Навозом, — повторил Ковач и шумно потянул носом. — Разве вы не чувствуете, что сюда въехал верховинский хлев? — И он рассмеялся.

— Оставь, — попытался урезонить его один из гимназистов, заметивший, что я побледнел. — Уверю тебя, ничем не пахнет.

— Ох, не уверяй, пожалуйста! — произнес Ковач, зажимая нос. — Я верховинцев хорошо знаю, они приходят к нам заниматься каждое лето. Это их врожденный запах!

Обида и гнев опалили меня. Я встал и изо всей силы ударил Ковача. Удар пришелся по лицу, и Ковач полетел, опрокидывая стулья и соседние столики.

На следующий день вся гимназия уже знала о том, что произошло в кухмистерской, и мнимое единство учащихся, о котором так пеклись директор и классные наставники, к их ужасу, раскололось. В течение какого-нибудь получаса в гимназии образовались два лагеря: один из них встал на мою сторону, другой, в который входили сынки состоятельных родителей, — на сторону Ковача.

В коридоре возникла потасовка:

— Жебраки! <sup>1</sup> Вон жебраков из гимназии!

— Панов на фонари! — неслось в ответ.

Классные наставники еле развели нас по классам.

<sup>1</sup> Жебрак — нищий.



Ковач на занятия не пришел. Чонка успел пронюхать, что он лежит с распухшим лицом. Приехал в гимназию из Батева отец Ковача и долго сидел у директора...

Вот и конец воспоминаниям.

Меня исключат... Здесь, в сторожке, наедине со своими мыслями, я все отчетливее и отчетливее представляю себе, что это будет именно так. Кто встанет тут на мою защиту? Что я для директора, классных наставников, учителей по сравнению с Ковачом? Пойти и сказать, что я раскаиваюсь в своем поступке? Но я ведь поступил так, как должен был поступить каждый на моем месте! Не в чем мне каяться.

Ночь я провел в сторожке, а утром решил в гимназию не идти. Зачем ходить? Теперь уже все равно...

От голода сосало под ложечкой, но бессонная ночь смогла меня, и я задремал. Очнувшись поздно от чых-то шагов. Раскрыл глаза и увидел в дверях Чонку.

— Вот ты где! — крикнул он. — Идем скорее в гимназию, тебя директор вызывает... Послали меня искать... Ну, вставай и идем!

— Никуда не пойду, — сказал я.

— Но вызывают же! — умоляюще посмотрел на меня Чонка. — Послали меня искать...

— Ну и пусть, пусть ищут, а мне нечего теперь там делать.

Чонка опустил голову. В душе, видимо, он был согласен со мной, но все-таки произнес после паузы:

— А может быть, пойдем, Иванку?

У меня уже готово было сорваться резкое «нет», как вдруг решил: «Пойду! Правда моя, а не их. Пусть видят, что я не боюсь!»

## 9

В кабинете директора собрались все профессора. Они чинно сидят вдоль стен на стульях с высокими спинками, как присяжные в судилище. За моей спиной у дверей толпится группа учеников — представители, вызванные по двое от каждого класса, а посередине кабинета, неподалеку от меня, — Ковач. Лицо у него припухшее, на левой скуле белеет пластырная наклейка, и время от времени я ловлю на себе его злобно торжествующий взгляд.

— Белинец, — слышится голос директора, — почему вы пропустили сегодня занятия?

Я молчу.

— Может быть, вы больны?

— Нет, я здоров.

— М-м-м, — поджимает губы директор. Он встает и обводит взглядом присутствующих. — Приступим, господа. Я надеюсь, что времени было вполне достаточно для того, чтобы у каждого из нас сложилось объективное мнение. Выскажем его. Пусть знают все, что мы беспристрастные воспитатели и беспристрастные судьи. Прошу, господа.

Первым говорит профессор математики Зинченко:

— Я слишком взволнован, пане директор, случившимся, чтобы произносить сейчас длинные речи. Римляне были кратки в выражении своих чувств и мыслей, последую их примеру: исключить! Да.

Следует выразительный жест, и профессор математики грузно опускается на место, глядя на меня исподлобья.

После математики слово берет профессор литературы Гоняк. Худой, горбоносый, он говорит мягко, долго и печально. И в заключение приходит к выводу:

— Мы не можем отнять у ученика Белинца ни его способностей, ни его прилежания, но его поступок, его... дерзость по отношению к тому, кто является гордостью и украшением нашей славной гимназии — я имею в виду ученика Ковача, — не может не вызвать возмущения. И я печально вынужден присоединить свой голос к голосу пана Зинченко.

Под директором беспокойно скрипит и повизгивает винтовое кресло.

— Прошу слова!

Это голос Луканича. Луканич стоит у окна, поглаживая свои пальцы, словно они затекли у него, и не торопится. Сначала его долгое молчание вызывает недоумение, начинаются покашливание, шепотки, но вдруг все это смолкает, и в кабинете воцаряется такая напряженная тишина, что кажется, ее может нарушить взгляд, брошенный с предмета на предмет. И в этой точно ожидаемой Луканичем тишине снова раздается его неторопливый, рассудительный голос:

— Нельзя не похвалить искренность чувств моих выступавших коллег, тем более что чувства эти вызваны происшествием, не совместимым с нашими принципами. Но именно, исходя из этих принципов, я не могу согласиться и никогда не соглашусь с выводами, которые сделали мои коллеги.

Мне чудится, что я ослышался, но в кабинете движение. Я вижу, как шепчутся профессора, как, глотнув воздуха, хочет что-то произнести Зинченко, а Мячик останавливает его жестом и обращается к Луканичу:

— Прошу, прошу, пане Луканич. Мы слушаем вас, продолжайте.

Луканич проводит носовым платком по залысинам.

— Да, не могу согласиться. Мы говорим о следствиях, но нужно понять и причины!

Директор одобрительно кивает головой, и этого достаточно для того, чтобы недоуменное выражение на лицах педагогов сменилось выражением согласия.

— Ученик Ковач, — продолжает Луканич, — оскорбил своего товарища по гимназии. Я не оправдываю способ отвечать на оскорбление ученика Белинца, но в то же время мы не можем не осудить поведения ученика Ковача. За что вы предлагаете исключить Белинца? За то, что этот выросший в бедной верховинской семье юноша, получивший только теперь доступ к знаниям, не захотел проглотить незаслуженное оскорбление? Я повторяю, кулаки — негодное средство, и пустивший их в ход заслуживает порицания, но осудить человека, не стерпевшего оскорбления своего достоинства, никто из нас не вправе.

И что это? Опять Мячик одобрительно кивает головой.

А у меня сумбур в душе, в мыслях. Я боюсь верить, боюсь думать, боюсь слушать, как выступающие вслед за Луканичем соглашаются с ним, как Мячик, разглаживая пухлыми ручками зеленое сукно стола, говорит, что о моем исключении из гимназии, конечно, не может быть и речи, что он во всем согласен с мудрым и объективным выступлением пана Луканича и что мне с Ковачом выносятся порицание.

— У гимназии, как и у республики, не может быть сынков и пасынков. Демократия озбочена лишь тем, чтобы

из стен нашей гимназии вышли верные слуги республики, поколение единое, ненавидящее распри и политические крайности.

— Видишь, дурак! — тормошил меня уже на лестнице Василь Чонка. — А ты не хотел идти... Слава богу, обошлось... И так неожиданно... А Луканич! Вот это настоящий человек!

— Ты что, слышал, как он говорил?

— Конечно, слышал! Мы под дверью стояли... Ну, всё!.. Э, да я вижу, ты совсем не рад!..

— Что ты, Василю, конечно, рад! — торопливо ответил я товарищу. — Конечно, рад... Но скажи, пожалуйста, что же случилось, почему они так?.. Вчера Мячик выгнал меня из директорской, и отец у Ковача, сам знаешь... А сегодня все вдруг переменялось. Ничего я не могу понять!

Я еще мог объяснить, почему все выступавшие после Луканича профессора соглашались с ним. Привыкшие держать нос по ветру, они, как только учуяли, что Мячик солидарен с Луканичем, не задумываясь начали поддакивать им. Но почему Мячик выступил против моего исключения?

— Ерунда! — вскинул голову Чонка. — Просто подошли справедливо, вот и все.

«Справедливо?» Это объяснение показалось мне единственно верным. Но как далеко оно было от истины!

Я не мог знать, что мой инцидент с Ковачом, вызвавший волнение среди учащихся, привлек к себе внимание малоизвестного в ту пору, состоявшего на скромной церковной должности в епископстве пана превелебного Новака.

Почти четверть века спустя, повествуя надтреснутым старческим голосом советскому суду о черных делах своей долгой жизни, этот человек рассказал и о том, как по поручению святой римской церкви он незримо, через своих людей влиял на многие стороны жизни нашего края и в том числе на жизнь учебных заведений, хотя официально они и считались светскими. И моя гимназическая история приводилась в качестве одного из примеров.

Обстоятельно, поражая меня памятью на подробности, вел свой рассказ Новак, рисуя перед слушателями отчетливую, ясную картину.

На второй же день, после того как инцидент в гимназии стал широко известен, пан превелебный пригласил к себе профессора Луканича, с которым, помимо всего прочего, связывали его годы совместной службы в ужгородской семинарии.

— Пана Луканич, — спросил Новак, — как намеревается поступить с этим учеником Белинцем дирекция вашей гимназии?

— Исключить, отче, — ответил Луканич.

— А ваше мнение?

— И мое мнение исключить... Паршивую овцу из стада вон.

— Так, так, — протянул пан превелебный. — А что будет дальше с этим учеником?

— Не знаю, отче, — пожал плечами Луканич. — Разве это должно нас интересовать?

— Должно, — твердо произнес Новак. — Мы живем в трудные времена, когда слишком много становится паршивых овец. Оттолкнуть делается все легче и легче, а прирывать — труднее и труднее.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, — проговорил Луканич.

— Простую истину, — ответил пан превелебный. — Мы не смеем отдавать врагу святой церкви людские души, как отдавали их до сих пор. Так можно и без стада остаться... Вы должны, пане Луканич, выступить против исключения этого ученика из гимназии.

— Но мой голос может оказаться единственным.

— Этого не произойдет, сын мой.

И не мог я знать, что на следующий день начальник отдела мукачевского полицейского комиссариата, позвонив по телефону директору гимназии, просил его поддержать всякого, кто выступит против исключения ученика Ивана Белинца, чтобы использовать представившийся случай и показать наглядно образец гуманности, демократичности общественных принципов республики.

Ничего этого я знать в ту пору не мог, и на сердце как-то сразу стало легче, когда Чонка сказал о справедливости. С добрым чувством я стал думать о Мячике, а Луканич становился для меня превыше и справедливее всех.

На лестницах, в коридорах, у подъезда полно оставшихся после занятий гимназистов. Они возбуждены, им уже известны все подробности, и только слышалось со всех сторон: «Луканич, Луканич...»

Вот он и сам вышел из директорской и направился ко мне. За ним понуро плелся Ковач.

— Больше этого не должно повторяться, — мягко произнес Луканич и подтолкнул меня к Ковачу. — Протяните друг другу руки.

Я сделал это с большой неохотой, через силу и только ради Луканича.

Набежала ватага гимназистов, окружила профессора.

— Знаешь что, Василю, — шепнул я Чонке, — пойдем провожать его домой.

— Ха, — усмехнулся Василь, — опоздал! Это мы до тебя решили.

Провожать Луканича отправилась большая группа учеников. Мы заняли всю ширину тротуара. Встречные уступали нам дорогу.

— Напрасно вы это, господа, — добродушно журил нас Луканич, — шли бы лучше домой.

Но уходить никому не хотелось. Еще вчера любой из нас мог наделить насмешливой кличкой этого мешковатого, тяжело ступающего человека, еще вчера мы ничем не выделяли его из среды других профессоров, а сегодня он уже был нашим героем, которого так ищут юные души и за кем они готовы следовать.

Я все время пытался быть поближе к Луканичу, но он как бы не замечал меня. Почти всю дорогу он разговаривал с другими, а в мою сторону и не глянул ни разу. Только когда мы вышли на тихую улицу, где стоял его дом, Луканич вдруг обернулся ко мне и, положив руку на мое плечо, спросил:

— Как поживает Горуля?

— Он, пане профессор, далеко, на заработках.

— И давно?

— Больше года.

Я насторожился. Взгляды наши встретились.

— Славный ваш Горуля человек, — произнес Луканич, — умный, а вот жаль: многого он не понимает, не может или не хочет понять... Где вы живете, Белинец?

— Теперь нигде, — ответил я.

Луканич замедлил шаг:  
— То есть как «нигде»?

И я неохотно рассказал, как мне отказала вчера в квартире пани Елена.

— Глупо, — нахмурился Луканич, — чрезвычайно глупо... Я постараюсь устроить вас тут недалеко, по соседству. Это, конечно, временно, а затем придется похлопотать, чтобы вас приняли в интернат для нуждающихся. Мы думаем его открыть в ближайшем будущем.

Через несколько дней я писал письмо Горуле, длинное письмо о всех моих злоключениях, о том, что пришлось мне пережить, и о том, как меня защитил Луканич.

Ответ от Горули пришел через месяц.

«...Радый за тебя, Иванку, что твердо на своем держался и голову не склонил, — писал он. — И людям надо верить, как же без этого жить тогда? Только про Луканича Федора что мне писать? То добре, что он не побоялся за тебя заступиться, про это я ничего сказать не могу, а дороги у нас с ним, видать, все-таки разные».

Больше о Луканиче Горуля не обмолвился ни словом, даже привета не просил ему передать, и я несколько дней ходил пасмурный, избегая встреч с Луканичем, будто был виноват перед ним за Горулю.

А встречаться нам теперь приходилось часто.

В числе одиннадцати нуждающихся учеников я был принят в открывшийся интернат. Разместили нас в двух больших комнатах пустующей половины луканического дома, предоставленных для этой цели хозяином.

Открывали интернат торжественно. Собрались профессор гимназии и представители прессы.

Мячик произнес прочувствованную речь, в которой объявил о том, что содержание общежития взяло на свой счет государство, и выразил глубокую радость, что такой уважаемый педагог, как профессор Луканич, согласился быть воспитателем и наставником принятых в общежитие учеников.

Потом мой однокашник Юрко Лалчак прочитал сочиненный от нашего имени Луканичем благодарственный адрес пану президенту. Адрес этот был затем напечатан во многих газетах. За интернатом вскоре последовало и второе благодеяние. Нам стали отпускать бесплатные обеды в городской богадельне.

Приходили мы туда сразу же после занятий и, усевшись за столы, ели торопливо, задерживая дыхание, чтобы не чувствовать тошнотворного запаха затхлости и карболки, которым было пропитано все здание.

Мы испытывали какое-то смутное чувство унижения: будто нас, молодых и здоровых, приравняли к немощным калекам и нищим. Но делать было нечего. Приходилось есть этот горький хлеб и еще благодарить за него.

Луканич часто заходил к нам в общежитие. Он обычно появлялся по вечерам, уже после того, как нами бывали выполнены заданные в гимназии уроки. Внимательный, заинтересованный слушатель (что нам всегда льстило), он был и хорошим рассказчиком. Среди многих историй, которые он рассказывал, нас всегда привлекали эпизоды из прошлого нашего края.

Мы словно слышали крики сжигаемых заживо в церквушках солдатами Марии-Терезии людей только за то, что они отказывались изменить своей вере, своему языку.

Нам рисовались вереницы уходящих в горы селян, согнанных графскими гайдуками с плодородной земли.

— Ну, ну, господа, — говорил Луканич, угадывая, что творилось в душе каждого из нас, — ведь это все позади и не повторится в нашем демократическом государстве.

— Пан профессор, — спросил я однажды, — а почму же у нас в Студенице и сейчас сгоняют с земли?

— Кто?

— Газда один, Матлах.

Луканич громко высморкался в огромный синий платок.

— Видите ль, — произнес он, наконец, после некоторого молчания, — это, конечно, произвол, вернее, то, господа, что еще осталось от прошлого. И правительству пужно время, чтобы покончить со всякой несправедливостью. Правда победит! Не зря этот великий девиз, господа, начертан на гербе нашей республики. Правда победит!

По субботам Луканич приглашал нас в свою половину. В этот день к нему приходили и другие ученики гимназии. Мы читали стихи и разучивали пьески из народной жизни. В этих одноактных сценках бичевались пьянство, скудость, и неизменным персонажем в них выступал корчмарь, который должен был являться воплощением всех бед и горестей народа.

Нам довольно скоро надоело это занятие, но возможность часок-другой посидеть в теплой комнате и выпить чашку сладкого кофе представляла немалый соблазн. И мы продолжали бывать у Луканича.

## 10

Однажды среди зимы (я уже учился тогда в шестом классе) от Горули пришло письмо и посылка.

«Иванку, хлопчику! — писал Горуля. — Хвала богу, жизнь моя пошла лучше. Приехали до нас якие ученые люди из самой Братиславы, и я их водил в горы на охоту. А как увидели они, что я добрый охотник, так и взяли меня на службу. Хожу по горам, бью зверя, а старичок тут один делает из них чучела и отправляет в Братиславу. Пригляделся я до старика, как он работает, и скоро сам научился чучела набивать. Теперь я уже и тебе побольше помочь смогу. Ты только учись, хлопчику. Как я подсчитал, тебе еще два года осталось. Ох, и давно я не видел тебя, может, как увижу, так и не узнаю. Посылаю тебе штаны, куртку, башмаки, только боюсь вот, что не по росту они тебе будут. Я ведь тебя все малым помню. И еще посылаю тебе кое-что, да ты уж сам увидишь... А наибольшую радость я приберег для конца, Иванку. Может, Гафия успела тебя о ней предупредить. Могу я возвращаться домой, в Студеницу. Овсак помер. Люди кажут, что то не господь бог убрал его с земли, а Матлах. Хотел Матлах скупить овсаковскую землю, да Овсак отказывался продавать. Грызлись они между собой, как и псы не грызутся, ну и подставил Матлах другу своему чарочку древесного спирта. Род Овсаков кончился, а землю уряд продал, и купил ее Матлах.

Хочется в Студеницу, Иванку, домой, да ехать повремени. Нужно мне еще с год походить здесь в охотниках, может, удастся немного грошей отложить: нужда больша, сам знаешь...»

Я с радостью прочел принесшее сразу много хороших известий письмо и принял за посылку.

Куртка оказалась тесноватой, а башмаки чересчур просторными, но я был им несказанно рад, потому что зима стояла холодная, а одежда моя изрядно пообносилась, да и, кроме того, это была первая в моей жизни новая, а не перешитая из старья одежда.

Я искал в посылке еще и другое, на что намекал Горуля, и, сунув руку в боковой карман куртки, нащупал тонкую книжечку. На обложке название: «Правда о Советской России».

Была эта брошюра напечатана где-то в Праге убористым шрифтом и, судя по захватанным краям страничек, читана и перечитана не одним десятком людей.

Я не показал ее даже Ладиславу Стреге, на адрес которого продолжал мне писать Горуля, спрятал и помчался в интернат.

О новой, Советской России в ту пору лгали у нас везде; в газетах, в гимназиях, в церковных проповедях. Ложь туманила людям головы, сбивала с толку, но сердце, привыкшее верить в Россию, противилось лжи, хотя тысячи препятствий не подпускали к нему подлинной правды.

По дороге в интернат я несколько раз сдерживал искушение вытащить из кармана брошюру и прочитать ее, но нужно было быть осторожным: политическая, даже легальная, литература для нас, учащихся, была под строгим запретом, а замеченному в нарушении этого запрета грозило изгнание из гимназии.

Придя в интернат, я долго колебался: показать ли товарищам брошюру? Сначала, разумеется, были осмотрены и каждым примерены мои новые башмаки, куртка, а потом, когда все было должным образом оценено, я все же решился, вытащил брошюру и показал ее товарищам.

— Ты где ее взял?

— Нашел.

— Нет, правда, Иванку...

— Правда, нашел.

Через минуту мы уже сидели, сгрудившись на крайней койке у окна и читали. Человек, побывавший в Советской стране, рассказывал о том, что он видел. Это были факты почти без всяких комментариев, о Волховстрое, учащейся молодежи, о первых коммунах, быте городов. Сжато изложенные, эти факты, однако, вводили нас в жизнь огромной страны, где все кипело, накапливало силы, готовилось еще к чему-то большему, великому. Мы глотали страничку за страничкой, не думая о том, что уже сумерки и что можно зажечь свет, а не слепить глаза у окна.

— Чем это вы увлеклись?

Позади нас стоял Луканич. Мы и не слышали, как он вошел в комнату.

Вскочив с койки, я инстинктивно сунул руку с брошюрой за спину.

— Чем это вы так увлеклись? — повторил свой вопрос Луканич.

Я смутился и протянул ему брошюру.

Зажгли свет. Луканич подошел к столу и, прочитав заглавие, стал листать страницы.

Он весь как-то сразу подобрался, глаза его вдруг сузились, но он тут же опомнился, и лицо снова приняло спокойное и приветливое выражение.

— Чья это?

— Моя, — сказал я.

Луканич еще раз перелистал странички.

— Любопытно! Не дадите ли вы мне ее почитать?

Мне ничего не оставалось делать, как произнести:

— Пожалуйста, пане профессор.

Я ожидал, что Луканич спросит, откуда я это взял, но он ничего не сказал, а, поблагодарив, сунул брошюру в карман.

Два дня мы томились и гадали, что с нами теперь будет. Неужели Луканич расскажет об этом случае Мячику? Тогда нам не сдобровать. Я ругал себя за неосторожность и заявил товарищам, что в случае чего возьму всю вину на себя. Но это никого не могло успокоить. А Луканич, встречаясь с нами, не заговаривал о брошюре, словно ничего не произошло. Это уж совсем обескураживало. На ум не шли ни занятия, ни книги, мы разговаривали шепотом, ложились спать раньше обычного, но долго не засыпали.

На третий день после истории с брошюрой была моя очередь дежурить по общежитию. Утром я поднялся раньше всех и пошел за дровами, чтобы успеть перед занятиями в гимназии истопить печи.

На крыльце я столкнулся с Луканичем. Он вставал обычно очень рано и в любую погоду совершал получасовые прогулки.

Ночью метелило. К крыльцу и к калитке прибило много снега, но под утро ветер улегся, распогодилось, и теперь в звездном небе светил месяц.

У Луканича было хорошее настроение.

— Нет ничего лучше утренних прогулок, по крайней мере я после них чувствую себя намного моложе, — сказал Луканич и стал утаптывать снег у крыльца.

— Между прочим, — проговорил он, прерывая свое занятие и пристально глядя на меня, — вы совсем не дорожите своим будущим, Белинец.

— Почему, пане профессор?

— Об этом я вас должен спросить, почему? Вы отлично знаете, что ученикам гимназии запрещено читать политическую литературу. Знаете или нет? Отвечайте!

— Знаю.

— Почему же вы понесли брошюру в общежитие и стали читать товарищам вместо того, чтобы сразу отдать ее мне? Откуда она взялась?

Я молчал.

— Ваше счастье, — сурово продолжал Луканич, — что это я, а не кто другой увидел брошюру. Иначе, на этот раз, вам бы не сдобровать... Зачем вам понадобилась эта книжонка? Вы ведь интеллигент, Белинец, а не какой-нибудь чабан или дровосек. У вас редкие способности, вам предоставлена возможность развивать их. Вы должны думать о том, чтобы преданно служить нашим демократическим идеалам, а вместо этого...

Луканич положил руку на мое плечо.

— В будущем ничего от меня не скрывайте. Я вам только добра желаю. Мы ведь друзья, Белинец... А о содержании брошюры мне бы хотелось потолковать со всеми вами, хотя бы сегодня вечером...

У меня гора с плеч свалилась, и когда Луканич ушел к себе, я, забыв о дровах, бросился назад, в общежитие, и, растолкав товарищей, сообщил им о разговоре с Луканичем.

Так, помимо привязанности, Луканич добился и нашего глубокого доверия. С той поры мы ничего не тайли от него, даже в мелочах.

Вечером Луканич звал нас к себе. За окном опять мело, как накануне, а в заставленной книжными шкапами и полками комнате топились печи, было тепло и тихо.

Луканич в войлочных домашних туфлях и гуцульском кожухе, надетом поверх суконной блузы, ходил взад и вперед по комнате, время от времени бросая взгляд на столик под лампой, где лежала брошюра.

— Разумеется, — говорил нам Луканич, — Советская Россия — незаурядная страна, и то, что там происходит, — тоже явление незаурядное. Но не все, что пригодно России, годится для других стран и приемлемо для других народов. Пальма гибнет в наших широтах, а карпатский бук чахнет в знойной Африке... Вы уже взрослые люди, и я не боюсь говорить с вами откровенно и обо всем...

Коммунисты утверждают, что капитализм — зло, которое необходимо уничтожить... Зло! — Луканич на секунду остановился и поднял палец. — Согласен, но уничтожить его невозможно. Я сам, господа, сражался против него и повторяю — невозможно! Смерть — тоже зло, господа, но без смерти нельзя представить себе жизнь: это две стороны одной монеты. Пройдет еще два года, и вы уйдете из стен гимназии в жизнь. Я обязан вас предостеречь от крайностей. Крайности заманчивы для молодых умов, но ничего не приносят, кроме разочарования и горя. Не в книгах я это вычитал, а испытал сам, многое перетерпев, и только потому я имею право предостерегать вас, мои молодые друзья. Когда двое спорят, правда всегда лежит где-то посередине, на третьем пути — это путь реальных, обыкновенных дел.

Общество, друзья мои, не стоит на месте, оно прогрессирует. И капитализм уже не тот, каким он был сто лет тому назад и даже пять лет тому назад. Из междоусобных схваток он вышел обновленным, более прочным, чем когда-либо, но в то же время гуманным, терпимым, а главное, демократическим. Наша республика, господа, еще очень молода, и нельзя требовать от нее всего сразу. Но поймите, нам нечего равняться на Советскую Россию, у нас есть свой идеал — демократия Соединенных Штатов Америки, с ее гуманностью и свободой.

Об американской демократии Луканич говорил много, всячески превознося ее, а мне почему-то приходили на память: Матлах, отец, не вернувшийся домой из Америки, американский «пан редактор» с киноаппаратом, сующий доллар деду Грицану...

## 11

Из детской думы о ключе Миколы и родилась не давшая мне покоя мысль стать агрономом.

Ею я жил последние гимназические годы, ей я обязан был тем, что не сына скотопромышленника Поповича, как это хотелось Мячику и другим профессорам, а меня скрепя сердце признавали первым учеником гимназии. И сельскохозяйственный институт в старинном чешском городе Брно стал для меня заветной целью.

Ради этой цели я батрачил три лета подряд у богатого огородника близ Мукачева и откладывал геллер за геллером, не покупая ни нового платья, ни новых ботинок, довольствуясь тем, что приобретено было по дешевке у старьевщика.

Горуля поддерживал мою мечту об институте. Как некогда, готова меня к поступлению в гимназию, он и те-

перь старался изо всех сил, чтобы отложить из скудных своих заработков хоть что-нибудь на мою долю.

Иногда среди зимы он привозил на продажу в Мукачево чучела птиц или покрытую узорной резьбой деревянную посуду, которую сам мастерил.

— А не посчитают ли тот институт, Иванку, даже для тебя высоким? — спрашивал он меня при встрече. — Я чувствую, там одних панских да газдовских детей учат. Могут и не принять.

— Но ведь и в гимназии есть панские дети, — сказал я.

— Э, что взял! — задумчиво произносил Горуля. Одно дело — гимназия, а другое — институт. Вон и меня, когда егерем служил, раза два до графской передней пускали, а дальше ни, ни... Прямо, может, Иванку, и не скажут, теперь прямо не говорят, а возьмут да и объявят: мест нет. Может, ты по-другому надумаешь? В якусь семинарию, на учителя, где нашему брату полегче.

— Нет, вуйку, я решил твердо.

— Ну, дай боже! Радый буду за тебя.

Первое время меня и самого грызли сомнения, но Луканич сказал мне однажды:

— Вам нечего сомневаться, Белинец. Дорога для вас открыта.

И какой музыкой прозвучал для меня старческий голос седовласого ректора института в Брно осенью двадцать девятого года, когда он первым назвал меня «паном коллегой»!

Мы стояли с Лапчаком в ряду других принятых в институт. Несмотря на полдень, в актовом зале горели свечи. Было торжественно и холодно, а на каждое слово директора отзывалось эхо.

Опять, как при поступлении в гимназию, нас фотографировал приехавший из Ужгорода корреспондент, записывал наши имена, фамилии и названия сел, откуда мы были родом.

Извещая о важной перемене в моей жизни Горулю, я просил писать мне по адресу: Брно, Мостна улица, дом Юлиуса Шиллингера, студенту Ивану Белинцу.

Дом, в котором я поселился, принадлежал профессору нашего института Юлиусу Шиллингеру. Во втором этаже жил домовладелец со своей супругой, а комнаты первого и третьего сдавались внаем студентам.

В день, когда принятые в институт новички собирались в вестибюле института, к некоторым из них подходил сам профессор Шиллингер, горбоносый человек лет пятидесяти, с опущенными книзу длинными белыми усами, и говорил замершему в почтении студенту:

— Вам нужно жилье, не правда ли? Мой дом на Мостной улице к вашим услугам.

Он произносил эту фразу полный достоинства и, не дожидаясь ответа, шел дальше, стуча по каменному полу зонтиком, заменявшим ему палку.

Камерка, которую я снял, находилась в полуподвале. Была она сырой и такой тесной, что в ней едва умещалась складная кровать. Днем кровать убиралась в подвальный закуток и вместо нее вносились столик и стул. Узкое окно выходило во двор и упиралось в глухую стену, но я был рад и такому жилью, лишь бы учиться.

Домом управляла супруга профессора, маленькая, щуплая, но очень деловитая женщина. Дом был ее предприятием, и она обладала удивительной способностью из всего извлекать доход, даже из своей доброй улыбки. Если

у кого-нибудь из жильцов не было к обусловленному сроку денег за квартиру, она утешала его:

— В этом нет никакой беды, уверяю вас! Я понимаю, я очень хорошо понимаю. Мой Юлиус тоже когда-то был студентом.

И к счету, который пани Шиллингер предъявляла потом утешенному жильцу, приписывалась лишняя крона.

Юлиус Шиллингер вел свой предмет луговедения только на третьем и четвертом курсах и считался одним из столпов института.

К студентам он относился либерально и не отказывался посидеть с ними часок-другой за кружкой пива в подвальчике «Золотое корыто». Это называлось у него «тряхнуть стариной».

С моими сокурсниками, в подавляющем большинстве своем людьми из зажиточных и состоятельных семей, у которых никогда не переводились деньги, мне было не по пути. Они несколько дней праздновали поступление в институт, а я, уплатив пани Шиллингер за три месяца вперед и оставшись с небольшой суммой денег, которую должен был беречь на черный день, пустился искать работу.

Сейчас уже и в Брно люди забывают, что значат эти долги, выматывающие душу поиски. Бесплодными они долго были и для меня.

До начала занятий оставалось еще две недели, и я каждый день рано утром уходил из дому, а возвращался затемно. Где я только не перебивал за день, у кого только не обивал пороги! Ответ был везде один и тот же:

— Работы нет.

И вот наконец-то!

По тротуарам Брно неторопливо ползет гигантский ботинок. Сделанный из папье-маше, покрытый черным лаком, он сверкает, отражая в себе, точно в зеркале, прохожих, витрины магазинов, неяркое осеннее солнце.

Люди уступают ботинку дорогу, дивятся такому гиганту, читая на его боках адрес обувной фирмы.

Внутри ботинка я. Это я и ношу его на своих плечах, придерживая руками поперечную перекладину. Меня не видит никто, а я вижу всех сквозь приходящиеся на уровне глаз узенькие отверстия.

Занят я три раза в неделю, остальные дни рекламный ботинок носит кто-то другой.

Чтобы получить эту работу, мне пришлось отдать случайно повстречавшемуся вербовщику большую половину моих скудных сбережений. Кроме того, я должен был выплачивать ему два раза в месяц по двадцать крон; мне, таким образом, оставалось только сто.

— Вы в счастливой сорочке родились, пане студент, — говорил мне, пересчитывая деньги, вербовщик. — Получаете работу с гарантией на год, о ваканциях можете не беспокоиться, предупреждайте меня — и ботинок останется за вами.

Первые дни я часто слышал смех прохожих и никак не мог понять, над чем же они смеются, пока не догадался: я слишком высоко приподнимал ботинок, и из-под него, нарядного, сверкающего, торчали мои стоптанные, в заплатках башмаки.

Того, что мне платила обувная фирма, едва хватало на оплату квартиры и обедов в кухмистерской, куда я ходил через день. Обедать чаще позволить себе я не мог и в постные дни обходился жидким кофе с хлебом.

У меня вечно сосало под ложечкой, но зато я учился в институте, и это было для меня превыше всего.

Я жил отшельником, усердно штудировал лекции, читал все, что касалось земледелия, с надеждой, что вот-вот, еще немного — и передо мною начнет раскрываться то самое главное, ради чего я терпел лишения и чему посвятил себя.

Сокурсники считали меня одержимым. Возможно, они были правы.

Мне было недостаточно знать классификацию почв и злаков. Я допытывался ответа: какие у них свойства? Можно ли бедные почвы сделать плодородными? Как заставить пшеницу расти там, где она никогда не росла? Но нечто застывшее, мертвое излагали нам в своих лекциях профессора, и на многие вопросы я не получал ответа.

«Рано еще, — успокаивал я себя, — это ведь только начало. Главное впереди».

А не терпелось заглянуть вперед!

С чем же я вернусь на Верховину, что принесу людям?

## 12

По горной дороге в тридцатом году я шел в родное село на свои первые студенческие каникулы. Был месяц июнь. День солнечный и безветренный. На рассвете прошумела гроза, и в свисающих над дорогой зарослях можжевельника еще переливались всеми цветами дождевые капли.

Среди темной зелени горных лесов тут и там выступали светлые пятячки яворов, будто с десятков ребятишек, забавляясь зеркальцами, направляли туда солнечные зайчики.

Мне хотелось поскорее свидеться с Горулей, но шагал я неторопливо, всматриваясь в окружающий меня мир. В рюкзаке у меня лежали: деревянный ящик с пробирками, сравнительный атлас и тетради. К заплечному ремню были привязаны деревянные переплеты для гербария, и они сухо постукивали друг о друга при каждом моем шаге.

Мимо медленно проплывали клочки пашен на лысых подгорках, и, глядя на них, я думал: «Что дает человеку вон такая полоска? Какой предел ее силы?..» Я внимательно разглядывал можжевельник и представлял себе его стелющуюся разновидность, которая с каждым годом все больше и больше опутывает полонины, да так глухо и цепко, что чабанам приходится прорубать в зарослях проходы. Иногда я останавливался у размытых потоками склонов с обнаженными камнями и, замеряя глубину почвенного покрова, удивлялся, что он так неглубокий и все же его достаточно, чтобы, цепляясь разветвленными корнями за каждую расщелину, росли огромные буки и яворы.

В полдень открылась передо мной зажатая горами Студеница. Я остановился и замер от радости, что вижу родное село.

На дне ущелья, где вилась среди разросшихся деревьев дорога, лежала тень, но взгорья были залиты солнцем.

Вон словно присела над поточком продолговатая хата многочисленной семьи Грицанов. Уж не дед ли Грицан стоит там на порожке? Вон вьется ленивый дымок над крышей Руцаковых, а там, на самом верху, повисла Горулина хижка, и я, не чувствуя усталости, побежал к ней, размахивая шляпой.

Горуля был дома. Накануне он спустился в село за солью с полонины, где пас студеницкое стадо.

Сидя на пороге хаты, он продевал лычки в новые постолы.

Я окликнул его. Горуля поднялся и долго глядел на меня, будто не признавая. Неужели я так изменился за это время, что мы не виделись?

— Иван! — воскликнул он наконец. — Кажись, в самом деле Иван!..

Он сделал несколько шагов навстречу, но вдруг остановился, как бы все еще не веря глазам, и начал ходить вокруг, склонив голову на плечо и разглядывая меня так, словно я был бычком, которого он собирался купить.

— Иван, — твердил он, — та правда, что Иван!

Только теперь раскинул он руки и сжал меня так крепко, что хрустнули кости и захватило дыхание.

— Писал, что и нынче не приедешь, — сказал Горуля, заботливо снимая с меня рюкзак.

— Писал, да передумал, — ответил я.

— Ну и слава богу, — сказал Горуля, оглянулся и крикнул: — Гафий!.. Засиделась у соседней... Га-ф-ф-и-ё-ё!

Но Гафия уже бежала через дорогу к дому. Она узнала меня издали, и лицо ее светилось застенчивой радостью.

— Принимай, принимай, Гафий, — говорил Горуля.

— Я-то приму, — отвечала она, — да ты вот гостя такого на дворе держишь и в хату не пускаешь.

Вошли в хату. Мне показалось, что она стала куда меньше, чем была раньше. Гафия обняла меня и сейчас же принялась хлопотать у печи.

Я сел на лавку. Ноги приятно ныли после дальнего перехода. Горуля, потоптавшись, уселся против меня и стал расспрашивать о моем житье и учении. Его интересовало все: и наука, и мои товарищи, и город Брно.

— А вы как, вуйку? — улучив минуту, спросил я.

Горуля насупился и не ответил.

— Совсем злой стал, — сказала за него Гафия и вздохнула.

— Злой? — усмехнулся Горуля. — А с чего добрым быть? Походил я и у нас и по Словакии, нагляделся, как люди живут. Нема у них счастья. Что было, то и осталось. Душа горит, Иванку! А мне вон и наши коммунисты из Свалявы кажут — нетерпеливый, даже поганым словом обозвали — ан-а-р-х-и-с-том — когда я им сказал, что соберу дружок и пойдем мы по лесам гулять, как Микола Шугай ходил. — Горуля вдруг стукнул по столу. — А что ты думаешь? И пойду!

— Нет, вуйку, не пойдете, — сказал я.

— Это почему ты думаешь? — насупился Горуля.

— Вы сами понимаете, что это ничего не даст и ничем не поможет народу.

— Вот ты как! — проговорил он, склонив набок голову. — А что ему поможет, скажи, — твоя наука?

— Может быть, и она.

— Значит, и ты не знаешь, — покачал головой Горуля.

— Принес бы воды, Ильку, — попросила Гафия.

Горуля поднялся, взял ведро и молча вышел из хаты.

— Худо ему, — горестно сказала Гафия. — На людей и на себя злится. Ищет что-то, а найти не может. Даст мать боже, теперь отойдет, как ты приехал.

Горуля вернулся в хижу уже не таким хмурым.

— Надолго домой, Иванку? — спросил он, доставая из кармана кисет и отламывая от полена щепочку, чтобы почистить ею трубку.

— На все лето.

— Вот и хорошо. Отдохнешь. Наверно, и ученым надо отдыхать?

— Отдыхать не придется.

— Что так? — осторожно спросил Горуля.

— Может быть, это мой первый шаг, вуйку, начало тому, что я задумал... Сколько лет, как вы по этой земле ходите? Лет сорок пять будет?

— Еще два прибавь, — сказал Горуля.

— А Федору Скрипке больше вашего, а деду Василию Грицану больше скрипичного. Ну, а что мы знаем про нашу землю, кроме того, что она богом забыта? Ничего не знаем.

— Может, и правда, — пожал плечами Илько.

— Так я и приехал, чтобы лето походить по ней, пособирать все травы, какие у вас растут. Присмотрюсь, какой у каждой характер, что она любит, и чего не любит. Надо будет взять на пробу землю в разных местах — и на пашнях и на полонинах. Вот даже у бабки Лозанихи из каждой болезни свой заговор, свое слово, а мы у нашей земли хоть раз спросили, на что ее жалоба?

Я развивал перед Горулей план работы, которую мне предстояло проделать за лето. Он слушал внимательно, машинально ковыряя щепочкой свою старую, обгоревшую трубку.

Когда я кончил говорить, Горуля все еще возился с трубкой, затем вскинул на меня глаза и с улыбкой спросил:

— Помощники тебе нужны будут или все сам?

— Ну, конечно, нужны! — сказал я.

— Так, может, ты меня возьмешь? Я дорого с тебя не попрошу, — и Горуля добродушно засмеялся. Видно было, что он заинтересовался и проникся уважением к задуманному мной и, как человек, который искал, к чему бы приложить свои ищущие выхода силы, увлекся предстоящей работой.

— Когда начнем? — спросил он.

— Хоть завтра.

— Ё ночи я на полонину уйду. Пойдешь со мной?

Я ответил согласен.

— Договорились! — сказал Горуля. — Чего на селе оставаться? Мы тебе там колыбу отдельную дадим, а трав насобираем, каких хочешь... Ты только скажи, что тебе надо... А пока поешь и отдыхай с дороги.

Но отдыхать я не собирался. Мне не терпелось поскорей увидеть Семена Руцака, Олену, проведать деда Грицана. Как живут они теперь? Я спрашивал о них в каждом своем письме к Горуле, да Горуля отвечал всегда одними и теми же словами: «Пока что живы».

Слух о моем приезде быстро разнесся по селу, и первым явился в горулину хату мой дружок детства Семен Руцак. Он держал на руках беленькую девочку лет трех, с тоненькими косичками.

— Дочка? — спросил я.

— Дочка, — сказал Семен и погладил девочку по голове.

— Как тебя зовут?

Она застеснялась и, обхватив шею отца, уткнулась личиком в его плечо.

— Как тебя зовут? — повторил мой вопрос Семен.

— Калинка, — ответила она чуть слышно.

У Семена Руцака была уже дочка Калинка...

— Вся в тебя, — сказал я Семену.

— И на мать похожа, — улыбнулся тот.

— А как зовут мать? — снова обратился я к девочке, которая смотрела на меня уже более доверчиво.

Семен словно угадал причину моего вопроса.

— Не Елена, Иване, — проговорил он. — Не Елена... Так вот, не вышло.

И трудно было мне понять, сожалел ли он о том, что не вышло, или нет.

— Не вышло, — повторил Семен. — Землю меж сестрами пришлось поделить, а моя доля не такая уж и великая была, чтобы на ней хозяйством стоять с Оленкой. А без хозяйства что я? Другому ничего, он в лесу будет работать или еще где, а меня земля тянет и тянет... Ну и посватался к другой...

Семен бережно опустил Калинку на пол и, вздохнув, стал свертывать папироску.

— Земля, земля!.. — продолжал он. — Сам знаешь, надеялись у нас люди на ту земельную реформу, когда графские земли стали продавать. А что с той реформы?.. Установили, как то кажут, ценз для каждого, кто хочет купить, а по тому цензу и вышло, что купить смог Матлах и другие, такие, как он, а большую часть потом «Латорица»<sup>1</sup> прихватила себе. Был Шенборн, а теперь «Латорица», вот и вся реформа...

Курить в хате Семен не стал. Мы вышли во двор и уселись на траве, в тени под деревом. Сначала девочка все жалась к отцу, но, приметив греющегося на солнце кота, подошла к нему, заложив за спину руки.

— Где ж теперь Оленка? — осторожно спросил я Семена.

— Все по наймам больше, в соседских селах, — ответил, затачиваясь дымом, Семен. — Выдали ее замуж за Штефака Миколу...

— Да он же старый!

— Для сироты и это — счастье, — сказал Семен. — Прожили два года, хлопчик у них народился, а потом Штефак взял и помер. Опять наймы — то у Матлаха, то у кого в других селах. Вот и нынче с месяц, как ее не видел. Чул, что Матлах послал в Верецки, там у него тоже земля есть. Богато стало земли у Матлаха. Мне б от нее частичку, я бы, знаешь, как на ней работал!

— А своей сколько?

— Своей совсем мало, — ответил Семен, — мой клаптик, да жена за собой принесла клаптик, остальное, что есть, — жинкиных братьев земля. Они в Бельгии на шахтах работают, а вернутся — придется отдать. Ты бы посмотрел, что за земля была, — кусты да камни, я ее два года чистил с утра до ночи. Надо мною люди смеялись, а я людей не слушал, работал.

И Семен потянулся, словно вспомнил, как сладка была ему эта тяжелая работа.

— Теперь уже люди не смеются, — продолжал он, — ходят только и дивятся, какая та земля стала. А что толку в ней? В хороший год еле на своем хлебе тянем, налоги едят. За дым — налог, за колеса — налог, за стол и скамейку — налог. — И, помолчав, тоном ищущего чего-то человека, тихо добавил, взглянув мне в глаза: — Скучно иной раз становится, Иванку, ой, как скучно! Места себе не нахожу, работаю, а скучаю... И чего это во мне такое, может ты скажешь?

Я с удивлением посмотрел на Семена, до того неожиданным был для меня этот его порыв. Но ответа моего Семен уже не ждал.

— И жинку я свою как будто люблю, — говорил он задумчиво, — и дочку, и землю, никуда от нее не могу уйти, а во мне радости нема. Найдет такое, будто ты по рукам и ногам связанный стоишь посреди белого света... Никому я про это не рассказываю, Иванку, а так вот не выдержал.

Он замолчал, нахмурился, и на этом разговор наш прервался.

Вслед за Семеном начали являться и другие. Среди них Федор Скрипка и совсем оглохший дед Василь Грицан с выщербленным воловьим рогом, служившим ему слуховой трубкой. Все эти люди знали меня с детства, но та настороженность, с которой они держались со мной теперь, говорила о том, что они меня уже не считают своим, и, вероятно, для многих из них я был счастливецом, выбившимся в паны, а с паном надо держать ухо востро. Но, несмотря на все это, в какой-то мере я все еще оставался для них Иваном, Осипа Белинца сыном. И они задавали мне множество вопросов, интересовались, почем метр<sup>1</sup> тенгерицы в тех краях, где я живу, какой мой заработок и слышал ли я что-нибудь о России.

— Там, кажут, — сказал дед Грицан, щуря от солнца глаза, — после Ленина другой человек державе голова. Чули, что с Верховины.

— Не с Верховины, диду, — поправил старика Семен Руцак, — а с Кавказа.

— Все одно горы!

— А Илько нам по газетке читал, — выскочил вперед Федор Скрипка, — что там, в России, люди сообща землю пахать начали... — и обернулся к Горуле. — Гей, Илько! Как, ты говорил, это прозывается?

— Ну, колхозы, — послышался ответ.

— И строиться богато взялись.

— Вот бы туда и нашим рукам! — вздохнул Скрипка.

Когда же я расспрашивал гостей об их жизни, они отвечали односложно и при этом переглядывались, не сболтнули ли чего лишнего. Вот о том, что зимой волки задрали петрихину корову и как угорела корчмарева жинка, — об этом они говорили подробно и охотно. Я слушал рассеянно, чувствуя, что все эти извлеченные из памяти сельские происшествия не интересуют никого, даже самих рассказчиков, и что понадобились они сейчас лишь для того, чтобы прикрыть ими свои заветные думы от чужого.

Горуля сидел все время молча.

Я перевел разговор на урожай, и вскоре почтительный ледок стал таять. Люди заговорили, перебивая друг друга, и даже Горуля перестал скучать. Да и в самом деле, что могло быть в жизни этих людей важнее хлеба?

Несмотря на старость, дед Василь Грицан обладал удивительной памятью. Он помнил, в каком году какой урожай собирался с его поля, и какая в то лето стояла погода, и когда начинали сев, а когда уборку. Для задуманной мною работы были очень интересны и важны такие сведения. Я достал из кармана записную книжку, но старик внезапно замолчал на полуслове и, сощурился, стал смотреть на солнце, приговаривая:

— Вру я все; не та память стала, совсем не та... Ишь, солнце как склонилось, а я и не приметил... Пора до дому... Будьте здоровеньки!

<sup>1</sup> Л а т о р и ц а — франко-бельгийско-швейцарская фирма.

<sup>1</sup> М е т р — мера веса, центнер.



И вдруг остальные начали как-то торопливо протаться.

Когда все ушли, Горуля сказал:

— Ты, Иване, книжечку никому не показывай. У нас все — и пан нотарь с книжечкой по хатам ходит, и экзекутор подати собирает по книжечке, и лесничий штраф записывает в книжечку, а как что, так и жандарм из кармана опять книжечку тянет. Вот и Матлах книжечку завел. Всякая беда с такой книжечкой...

— Но я-то не староста и не экзекутор!

— Не злись, Иванку, — укоризненно сказал Горуля, — не на тех людей злишься...

К вечеру мы двинулись с Горулей на полонину. Тропа, выбитая поколениями карпатских пастухов, круто поднималась горным лесом. Иногда, словно отдыхая, она вытягивалась ленточкой по узкому карнизу, переползала по мостикам через потоки и, отдышавшись, опять вела в крутизну.

На пашнях и полянах уже давно и следа не осталось от утренней грозы, а лес все еще хранил память о ней: земля была влажной, на папоротниках и пробивающейся сквозь корку прошлогодних листьев редкой траве блестели капли росы. Пахло грибной сыростью, и этот запах, смешиваясь с запахом прогретой за день сосны, дурманил и кружил голову.

Но вот лес начал редеть. Отстали от нас серебристые буки, их кроны шелестели от легкого горного ветерка уже где-то под нами, а сосны упорно карабкались и карабкались вверх. Здесь, на вышине, они потеряли свою стройность, стали приземистыми, узловатыми. Но вот и сосны выдохлись, отступили, и перед нами раскинулись поднебесные крутые луга — полонины.

Все то, что скрывал от нас лес, неожиданно распахнулось во всей своей необъятности. Куда ни кинь взгляд, виднелись вершины гор. Вечерние тени плыли над ними и застывали, словно кто-то задерживал один полог за другим. Тонкий аромат полонинских трав волнами пронесился в воздухе, а самый воздух казался таким разреженным, что трудно было дышать. Сбивая ногами высокую ромашку, мы спустились в лощину и вышли к кошарам.

Будлатые псы встретили Горулю радостным лаем. Даже овцы, и те, признав голос головного чабана, тянулись в его сторону.

Для меня потекли дни, полные увлекательной и кропотливой работы. Чуть свет я был уже на ногах вместе с чабанами. Умывшись росой, которую можно было пригоршнями набирать в ладони с травы, как воду из ручья, я наспех съедал миску кислого молока, овсяную лепешку и отправлялся в близкие и дальние походы. Я не только делал описания трав, какие мне встречались, не только сушил их для гербария, но и примечал, где эти травы лучше, а где хуже росли, и потом брал из-под них почву для анализа в самодельной лаборатории, которую соорудил в колыбе.

Если шел дождь или внезапно начинал лить грозовой ливень и сбившиеся в кучу овцы вздрагивали при каждом ударе грома, я не сидел в укрытии, а, наоборот, несмотря на уговоры Горули, выбегал из колыбы, ложился где-нибудь на уклоне и наблюдал, как тонкие струйки воды бегут, растекаются, точно реки по карте, и буравят почву, унося с собою ее крохотные частицы. А стояло только внимательно присмотреться, и увидишь среди травы следы

миллионов ручейков, — так бывают видны следы жучка-короеда на дереве.

— Э-э! Вуйку! — кричал я. — Глядите, что с землей делается... Идите сюда!

Горуля выбегал под ливень, присаживался на корточки рядом со мной, и мы наблюдали вместе за разрушающей силой невинных на первый взгляд струек.

— Легкая земля наша, — говорил с досадой Горуля, — весу в ней нет.

Потом мы поднимались, перебежали на другие участки, где островками рос горный клевер или овсяница. Тут уже не было буравящих ручейков. Связанная крепкими и разветвленными корешками этих трав, почва не поддавалась воде и всасывала ее в себя, хотя скат здесь был куда круче первого.

— А тут, Иванку, — говорил Илько, — и земля другая. Десять шагов всего от той, а другая, верно?

— Земля одна и та же, — отвечал я, — а вот травы разные.

— Постой, постой, — брал меня за рукав Горуля и хмурил мокрые брови. — Земля траву, а трава землю... Постой, постой...

Ему трудно было словами выразить то, что еще неясно шевелилось в мозгу.

Помогал мне не только Горуля, а и другие чабаны. Они приносили мне редкие экземпляры трав, образцы почвы с дальних концов полонины.

Но большую часть времени я проводил на полях. Они полосками лепились по склонам, и часто таким крутым, что крестьяне поднимали туда удобрение в мешках на своих собственных, согнутых, семью потами обмытых, спинах. Это был изнурительный, каторжный, требующий огромного упорства труд, зачастую не достигавший цели. Стоило только хлынуть дождю посильнее, как сносило все, что было с таким трудом поднято на гору.

Сколько раз видел я в женских глазах злые слезы, сколько раз слышал я, как после такого дождя селянин, прибежавший на свое поле, в бессильной ярости, швырнув на землю шляпу, сквернословил, грозил и клял.

Но слезы высушивал горный ветерок, слова иссякали, и приходилось либо снова удобрять, если было чем, либо, махнув рукой, пахать и сеять. Пахали, сеяли, и на полосках вырастали скудные посевы.

«Как это изменить? — спрашивал я себя. — Какие, неизвестные еще силы таит в себе горная наша земля? А если и вызвать к жизни эти силы, как заставить их действовать?»

Я заходил в село и подолгу беседовал с людьми. Теперь они не держались со мной отчужденно, даже дед Василь перестал бояться моей книжечки.

И чем больше я вел наблюдений, расспрашивал, накапливал фактов, чем больше записей становилось в толстой тетради и засушенных растений в гербарии, тем больше «почему» и «как» вертелось в моем мозгу, вертелось и не давало покоя.

Прошло лето. Я возвратился в Брно с большим гербарием собранных мною горных трав и тремя пухлыми тетрадами записей.

Я был до того увлечен достигнутыми за лето результатами своих трудов, что относительно спокойно перенес

удар, обрушившийся на меня: обанкротилась моя обувная фирма.

Измятый, облупившийся гигантский ботинок валялся на задворках фабрики, а я снова был без работы.

— Что поделает, пане студент! — разводил руками вербовщик. — У Бати большой аппетит: он глотает фирму за фирмой, как слон булочки. Но не отчаивайтесь, на тех же условиях я постараюсь устроить вас расклеящиком афиш.

Обнадеженный, я возвратился домой и решил в тот же день вечером обратиться с просьбой к профессору Шиллингеру, чтобы он просмотрел мой гербарий и мои записки.

Впустила меня в квартиру сама пани Шиллингер. И не успел я спросить, можно ли мне видеть пана профессора, как открылась дверь, ведущая во внутренние комнаты, и в прихожую вошла сначала молодая полная женщина, а за нею мужчина лет тридцати пяти с длинным скучающим лицом, а уже вслед за мужчиной сам профессор.

Молодая женщина, натягивая перчатки, говорила что-то профессору, а мужчина, держа в руках шляпу, все время молчал со скучным и чопорным видом, будто в прихожей служили папихиду. Человека этого я несколько раз встречал у нас в институте. Как оказалось, это был зять Шиллингеров, Ярослав Марек, а молодая особа — их дочь. Они жили отдельно от стариков, где-то на другом конце города, и посещали Шиллингеров редко.

В домашней обстановке профессор показался мне не таким внушительным, каким он бывал в институте. Завидев меня, он даже позволил себе улыбнуться и поздоровался, однако руки не подал.

Сначала я оробел, но потом решил и, не дожидаясь, пока уйдут дочь и зять Шиллингеров, громко произнес:

— Пане профессор, я все лето провел в Карпатах...

Должно быть, у меня был не только решительный, но и глухой вид, потому что Шиллингер улыбнулся.

— Ну что ж из того, пане коллега? — спросил он. — Вы, кажется, и родом оттуда, как это-о... с Подкарпатской Руси.

Я кивнул головой.

— Очень рад, — продолжал Шиллингер, — что вы отдохнули перед новым курсом.

— Я не отдыхал, пане профессор, — выпалил я, боясь, что наш разговор иссякнет. — Я работал. Я собирал гербарий, производил анализ почв, вел записи наблюдений, занимался статистикой, и у меня возникло много вопросов, на которые я надеюсь получить от вас ответ.

Видно, я проговорил все это так горячо, что Шиллингер перестал улыбаться, и не только его дочь, но и зять покосились на меня, и какал-то живинка задрожала на скучающем лице профессорского зятя.

— Какие же это вопросы? — спросил Шиллингер не очень довольным тоном.

Мне нечего было терять. Я стал рассказывать о Верховине, о ее вечном голоде и людской нужде, о том, что меня толкнуло пойти учиться, о всех своих «почему» и «как», мучивших меня днем и ночью. Я говорил, и перед глазами вставали бесконечные голодные зимы, и опухшие ноги матери, и чахлые нивки, ревуший от бескормья скот...

Когда я кончил, должно быть, все почувствовали себя неловко. Даже профессорский зять, опустив глаза, уставился в пол.

— Что ж вы хотите? — осторожно спросил меня профессор.

— От вас, пане профессор, только одного, — тихо сказал я, глядя в глаза Шиллингеру, — совета, как сделать, чтобы земля там стала плодородной, чтобы на ней росли не один овес, но и жито и пшеница.

— Бесплодную горную землю хотите превратить в райский сад? — насмешливо спросил Шиллингер. — Так я вас понял?

— Не совсем, пане. Я не о райском саде говорю.

— Все равно, — перебил Шиллингер, — вы хотите того, что, увы, выше сил науки. Конечно, — продолжал он, разводя руками, — наука в какой-то мере вмешивается в природу и быт людей, но именно в какой-то мере, пане коллега. Этому вмешательству есть предел. Природа мудрее нас, ибо не мы ее, а она нас создала с короткими руками и весьма дерзкими мечтаниями, как бы в насмешку над нашей непомерной гордостью.

Внезапно Шиллингер онемел и обратился к зятю:

— Я прошу вас, Ярослав, ознакомились с гербарием пана Белинца, — может быть, вы найдете там интересные экземпляры.

Марек церемонно поклонился.

— Когда вы можете показать свой гербарий? — обратился он ко мне.

— Когда вам будет угодно.

Он ничего не ответил и стал прощаться с Шиллингером.

На лестницу мы вышли втроем, и, едва захлопнулась дверь профессорской квартиры, с Марексом произошло нечто странное: глаза под пенсне неожиданно обрели живой блеск, и он так шумно выпустил из легких воздух, что жена обернулась и укоризненно произнесла:

— Ярослав!

Он не извинился и, обернувшись ко мне, неожиданно простым, дружеским и по-мальчишески веселым тоном заговорщика сказал:

— А знаете что, пане Белинец, забирайте-ка свои записки, гербарий — словом, все, что вы там насобирали, и ко мне.

Я несколько растерялся и спросил:

— Когда разрешите, пане Марек?

— Что значит когда! — воскликнул тот. — Сегодня! Сейчас, сию минуту! Мы ждем вас у подъезда.

Через несколько минут мы уже сидели в извозничьем экипаже с поднятым кожаным верхом.

Вечер был дождливый, по-осеннему сумрачный. Я пригнулся на откидном сидении и видел только ноги прохожих и влажный блеск тротуара, в котором тут и там уже отражались зажженные огни витрин. Всю дорогу ехали молча и, когда входили в небольшой кирпичный, окруженный садиком домик, тоже молчали.

Ярослав Марек ввел меня в довольно просторный кабинет с широкими, во всю стену, решетчатыми окнами, какие бываюи в чешских домах. Здесь было много книг, много горшков с всевозможными растениями и царил тот уютный беспорядок, который заставляет человека чувствовать себя непринужденно, располагая к беседе, работе и отдыху.

Марек начал ходить взад и вперед по комнате, морща лоб и потирая руки. Я заметил, что руки у него были большие, натруженные и смуглые от загара, как у сельского рабочего.

— Отвратительно, — проговорил он вдруг. — Отвратительно слушать пошлую болтовню этого попа, считающего себя ученым... Да ведь фокус не в том, кем он сам себя считает, а в том, кем его считают! И верят ему, как и я верил раньше... А он поп, поп, боженькой пугает. Впрочем, черт с ним! И визиты к черту! Давайте-ка лучше сюда то, что вы там принесли.

Я подал ему гербарий, но гербарий он отложил в сторону, а взял мои тетради, исписанные от руки крупным, разборчивым почерком, и, усевшись в кресло, принялся читать, совсем забыв про меня.

Читал он долго, по несколько раз возвращаясь к отдельным страницам, но ни разу не взглянул в мою сторону.

Кто знает, сколько бы мне пришлось еще томиться в ожидании, если бы в дверях кабинета не появилась копна светлых волос и веселое личико пани Марековой.

— Ярослав, кофе! Пани Белинец, кофе!

Марек с неохотой оторвался от чтения, поблагодарил и сказал, что он сейчас кофе не хочет.

— Фи! — произнесла она с притворным раздражением и обратилась ко мне: — Разделите со мной компанию, пани Белинец.

Я замаялся, но Марек сказал:

— Ступайте. Прошу без церемоний, вы своим присутствием даже мешаєте мне читать.

— Вот видите, вот видите, — пропела хозяйка и, взяв меня за руку, потащила на кухню.

На небольшом столике у окна поблескивали фарфоровые чашки, шумел кофейник, лежали бутерброды, и мне стоило немало усилий казаться равнодушным к ним.

Мы начали пить кофе, болтая о всякой всячине, и не пойму, чем я так скоро заслужил доверие пани Марекова, но чуть не с первых слов она посвятила меня в свои семейные огорчения:

— Если бы не я, пани Белинец, бог знает, чем бы все это кончилось. Они не терпят друг друга... Если бы вы только знали, как я от этого страдаю!

Хотя она и не назвала имен враждующих, но я понял, что речь идет об ее отце и муже.

— Конечно, — продолжала молодая женщина, — мой Ярослав умнее их всех, вместе взятых, но если бы он был чуточку терпимее и снисходительнее, ему уже давно предложили бы место профессора. Но в том-то и беда, что он непримирим и всегда говорит только то, что думает, а ведь в жизни нужно быть немножко дипломатом.

Она печально и как-то заискивающе улыбнулась, надеясь найти во мне своего сторонника.

Я промолчал и начал усиленно размешивать ложечкой давно растворившийся сахар.

— А ведь все началось с того, — вздохнула пани Марекова, — что Ярослав занялся гибридизацией и у нас в саду выросли совершенно небывалые плоды, прекрасно выдержавшие суровые зимы. Боже мой, сколько у нас с Ярославом было радости! Мы днями просиживали возле деревьев, и Ярослав все твердил, что этот русский Мичурин — величайший ученый, выше Дарвина. К нам приезжали даже из Праги смотреть на плоды. Но мой отец сказал, что скрещивание противостественно, что это противно природе и что занятия Ярослава недостойны человека, серьезно посвятившего себя науке. Тогда мой Ярослав назвал возражения отца поповством и еще какими-то другими словами.

Пани Марекова задумалась и снова вздохнула.

— Я раньше полагала, что люди враждуют только в политике или в жизни, но не в науке... Я не виню Ярослава, он бескорыстный, прямой человек, но таким людям трудно жить...

За разговором и кофе мы не заметили, как пролетело время и как в кухню, держа в руках мои тетради, вошел Ярослав Марек.

Он остановился, поглядел на меня долгим, несколько удивленным взглядом и спросил:

— На каком вы курсе, пани Белинец?

— Перешел на второй, — ответил я, поднимаясь с табурета.

— Сидите, — строго приказал Марек и заходил взад и вперед по кухне. — Что ж, — произнес он, остановившись снова возле меня, — рад знакомству с вами. То, что я прочитал уже сейчас в отрывочных и пока бессистемных записках, могло бы сделать нас только студенту второго курса, а я многим из нас, отдавшим себя науке. Это не комплимент, пани Белинец, а твердое мое убеждение. Вы смело вошли в область горного земледелия, к сожалению мало изученную. А знаете, что самое интересное в ваших записках? Травы! У трав великое будущее, да вы и сами это чувствуете, потому что много уделяете им внимания. У вас чутье ученого. Травы — это плодородие почвы, это конец первобытному хлебопашеству.

Марек, пододвинув себе стул и усевшись, неожиданно спросил:

— Слышали что-нибудь о Сибири?

Я ответил, что представления мои о Сибири весьма смутные и что край этот, должно быть, очень суров.

— Суров, без сомнения, — кивнул Марек, — я там четыре года прожил, когда попал в плен. И если бы не эта Сибирь, ходил бы мне теперь в невеждах под крылышком профессора Шиллингера. Так вот, в Сибири судьба меня свела с железнодорожным кассиром Корзуновым, садоводом-любителем, который надумал растить фруктовые сады в Сибири. Вы представляете, пани Белинец, что это значит? Нет? Это все равно, что под моим окном вырастить финиковую пальму. Фантазия! А ведь железнодорожный кассир своего добился, — я сам ел яблоки из его сада!.. Конечно, труд этот был нелегким, и Корзунов мне сказал, что помог ему советами какой-то садовод Мичурин, с которым он состоял в переписке. Разумеется, это для меня он был «какой-то» Мичурин, но для Корзунова он являлся величайшим авторитетом. И когда Корзунов прочитал мне письма этого садовода из Тамбовской губернии и несколько его брошюр, я понял, что такие люди, как тамбовский садовод, рождаются раз в столетие. Вот и вы ничего не слышали о нем?

— Нет, не слышал, — признался я.

Марек задумался и через некоторое время сказал:

— Мы преступно мало знаем о русских. О каком-нибудь немецком или английском ничтожестве у нас издают фолианты на меловой бумаге, с портретами прабабушек, но о тех, кто своим трудом доказал, что люди могут творить природу, диктовать ей свою волю, у нас о них молчат! А представьте себе, пани Белинец, что значит диктовать свою волю природе, преобразить ее! Как это великолепно, а главное — ведь достижимо! И русские, особенно в наше время, доказывают это на каждом шагу. Великий, щедрый и бескорыстный народ! Человечество многим обязано ему и будет обязано еще очень и очень многим...

Чем больше говорил Марек об ученых России, тем неостепенней я думал о своем крае — маленькой, насильственно оторванной, но кровной частице великой страны, — и на душе становилось отраднее от сознания, что я могу назвать народ, давший миру так много замечательного, моим народом.

Я ушел от Марека поздно. Шел, не замечая ни дождя, ни промозглой сырости осенней ночи.

14

После этого вечера я стал частым гостем в доме Марек. Меня влекло туда не только радушие хозяев, но главным образом содержательные беседы и книги, каких я не мог раздобыть в институтской библиотеке. Ярослав Марек подбирал мне их заранее по какой-то ему только одному известной системе, и они всегда лежали стопочкой, ожидая меня, на одном и том же месте.

Бывало, переступишь порог дома и начинаешь вытирать ноги, а уже из комнаты слышен голос Марека:

— Это вы, пане Белинец? Смотрите, что я раздобыл!

Он появлялся в прихожей, трясая над головой то книгой, то брошюрой, то журналом.

— Ох, боже мой! Как вы копаетесь, пане Белинец! Скорее раздевайтесь, садитесь и читайте...

Он вел меня в свой кабинет и только тут протягивал мне книгу. Вильямс, Докучаев, Мичурин — имена этих русских витязей науки, как называл их Марек, прозвучали для меня не в институте, а здесь, в этом доме.

У меня было тут свое место в кабинете хозяина — у столика, на котором горела лампа под абажуром и всегда лежала стопка бумаги и остро отточенные карандаши. Я садился и читал. Ярослав Марек на цыпочках отходил к своему столу и принимался за работу. Но проходила минута, и он нетерпеливо оборачивался в мою сторону.

— Ну, тепер вы понимаете, что такое истинная наука?

Я еще ничего не понимал. За прошедшую минуту я едва успевал прочесть половину первой страницы, а Марек уже вскакивал с места.

— Когда вам объясняют, что плохое плохо, — говорил он с жаром, — это еще не наука, но когда вас учат, как преодолеть плохое, как побороть зло, когда труд ученого вселяет в вас бодрость и веру и появляется потребность засучить рукава и работать, немедленно снимите шляпу, пане Белинец, потому что перед вами наука истинная... — И вдруг, переходя на шепот: — Ну, ну, простите, не буду мешать.

Политику Марек недолюбливал и если заводил речь о ней, то немедленно начинал раздражаться. Однако часто я заставлял его обложенным ворохом газет всевозможных направлений.

— Полюбуйтесь! — потрясал он страницами. — Полсотни партий — и только одна порядочная. Я не во всем могу соглашаться с коммунистами, но надо быть справедливым: это честные люди, а остальные — грязь. Кричат, что любят народ, что защищают народ, а сами подличают... Политика — это не для нас, пане Белинец. Мы должны служить народу наукой. Вот, извольте видеть, пример, к какой слепоте приводит политика: Мичурина не признают, Вильямса не признают — они большевики! Марек считает учение этих русских ученых великим, значит Марек крас-

ный и Марека еле терпят в институте. Омерзительная тупость! Не их политика дала человечеству электрический свет, периодическую таблицу, противохолерную вакцину. Она только сжигала ученых на кострах, гноила их в темницах, губила таланты и сталкивала людей в кровавых бойнях!..

И все же газет он получал много и читал их все. И когда я спросил его однажды, зачем он это делает, если не любит политики, Марек ответил:

— Поддерживаю свое отвращение к ней.

Все, о чем говорил Марек, убеждало. Это был человек в высшей степени честный, искренний.

Его точку зрения я принимал потому, что успел уже столкнуться в институте с продажностью и грязью. У нас было немало стипендиатов различных партий. Имелись среди них, конечно, люди с так называемыми убеждениями, но в большинстве своем они были готовы защищать любую партию, лишь бы за это платили. Так разошелся я с одним из моих земляков — старшекурсником Лапчак, получившим неожиданно для меня стипендию от партии националистов, возглавляемой у нас униатским патером Августином Волошиным.

— Слушай, Белинец, — сказал мне однажды Лапчак, — неужели тебе не надоело постоянно бегать и искать работу? Ты ведь украинец, напиши Волошину — и получишь стипендию, как я ее получаю.

— Не желаю продаваться! — резко ответил я и перестал с тех пор здороваться с Лапчак. А он, как и другие стипендиаты, на лекциях бывал редко и проводил дни в «Золотом корыте» за debатами, кончавшимися пьяными дебошами.

Во время зимних и летних вакансий по рекомендации Ярослава Марека я работал на фермах под Брно.

— Не гнушайтесь никакой черной работой, — говорил мне Марек. — Вы должны уметь делать в сельском хозяйстве все: быть пахарем и скотником, доить коров и стричь овец — все, абсолютно все. Труд не только продолжение науки, но и часть ее.

Как-то весной, когда я был уже на третьем курсе, в Брно приехал губернатор нашего края. Сообщение о его приезде появилось в газетах, а через несколько дней я в числе других студентов Подкарпатской Руси, обучавшихся в институтах Брно, получил конверт, в который была вложена карточка с золотым обрезом.

«Пане Белинец! — было написано каллиграфическим почерком на карточке. — Пан губернатор Подкарпатской Руси выражает свое пожелание видеть вас за ужином и беседой, имеющими состояться в «Золотом корыте» 16-го в 7 часов вечера».

Мне, разумеется, еще никогда не приходилось получать приглашения на ужин от такой высокопоставленной особы, как губернатор. Сначала я подумал, не подшутил ли надо мной кто-нибудь. Но вскоре выяснилось, что этой чести удостоен не я один. Многие из нашего землячества получили точно такие же карточки с золотым обрезом.

Мы собрались в подвальчике задолго до обозначенного в приглашении часа. Пришел Лапчак, пришел и старый мой гимназический недруг, Ковач — он учился в одном институте со мной, на четвертом курсе, пленяя теперь уже институтских профессоров своим футбольным талантом.

Еще с утра в «Золотом корыте» царил суета. Владелец подвала — судетский немец, все его домочадцы скребли, мыли и чистили обшитую потемневшим дубом

комнату, отделенную от главного зала аркой. Теперь арка была занавешена тяжелой драпировкой, и хозяин, предвзвистительно взглянув на пригласительные билеты, пропуская нас за драпировку в ярко освещенную комнату, посредине которой тянулся длинный, без скатерти стол, уставленный глиняными, старинного образца тарелками и пивными кружками. В углу громоздились в высоком футляре часы, всегда показывающие одно и то же время; сейчас они были заведены и протяжно отбивали каждую четверть.

Наконец стрелка вздрогнула, послышался шипящий бой часов, и с последним, седьмым ударом в комнату, сопровождаемый чиновниками, вошел губернатор. Это был человек лет шестидесяти, с продолговатым лицом и сухим, тонким носом. Он на мгновение остановился, улыбнулся нам и распротер руки, точно все мы были его старыми друзьями, которых он счастлив прижать к своей груди.

Лапчак зааплодировал. Его поддержали остальные. Губернатор опустил глаза долу и протестующе замахал руками:

— Господа, господа, прошу запросто. Сегодня среди вас и я студент.

Это понравилось, и присутствующие зааплодировали еще сильнее.

После того как Лапчак прочитал от имени землячества приветственную речь и было выпито за республику, пана президента, прогресс и науку, губернатор выразил свое желание спеть вместе с нами студенческую песню.

Пел он не в тон, слов не знал или давно забыл их, но это ничуть его не смущало.

Простота губернатора подкупала. Было лестно сознавать, что такой высокопоставленный в республике человек так запросто обращается с нами, студентами.

Губернатор стал подзывать нас, каждого в отдельности, и, усадив рядом с собой, подолгу беседовал, пока сопровождавшие его лица разговаривали с остальными. В один прекрасный момент и я очутился на свободном стуле перед паном губернатором.

— Белинец? — переспросил губернатор, услышав мою фамилию, и удивленный взгляд его пополз по моему потертому, короткому в рукавах пиджаку, вытуженным, но заштопанным брюкам. — Вы Белинец?.. Значит, это о ваших научных занятиях весьма лестно отзывались в ректорате института?

Я промолчал.

По лицу губернатора промелькнуло не то недоумение, не то досада, будто он ожидал встретить другого человека, а встретил меня. Но тут же недовольное выражение сменила вкрадчивая улыбка.

— Это делает честь не только вам, — проговорил губернатор, — но и нам, землякам вашим.

Он спросил, откуда я родом, давно ли учусь. Я отвечал, как решил заранее, кратко, сдержанно, боясь быть заподозренным хоть в чем-нибудь, отдаленно напоминающем подобострастие.

— А что же вас привлекло именно к агрономии? — полюбопытствовал губернатор.

— Верховина, — ответил я.

— Верховина? Мне это не совсем ясно.

Тогда-то я и позабыл о своем решении быть кратким.

Лицо губернатора ничего не выражало, пока речь шла о почвах, о моих занятиях травами, но лишь только я заговорил о крохотных полосках крестьянской земли, зажа-

тых со всех сторон угодами фирмы «Латорица» и верховинских богатеев, губернатор насторожился и перебил меня.

— Я не думаю, пане Белинец, — произнес он сухо, — что мы будем здесь обсуждать вопросы собственности. Вам следует знать, что собственность священна и охраняется законами нашей республики. — И тут же, видимо желая сгладить впечатление от своих слов, уже другим, благостным тоном добавил: — Конечно, конечно, Верховина — это постоянная наша забота, и правительство будет изыскивать меру, чтобы как-либо помочь народу. Да. А ваши занятия травами, пане Белинец, весьма интересны, весьма!

Он заговорил о науке, о ее величии и ее значении для процветания страны и в конце концов похвалил меня за то, что я решил посвятить себя агрономии.

Несмотря на уклончивый характер высказываний губернатора, его преклонение перед наукой обрадовало меня. В простоте души я верил каждому лестному слову, сказанному мне, и успех кружил голову. Со временем, думал я, мне удастся доказать этому просвещенному, преданному науке человеку свою правоту. Он просто не знает, что творится там, на Верховине. Было не деликатно с моей стороны наваливаться на него со всеми заботами и бедами в этот праздничный вечер. Но впоследствии уж я сумею открыть ему глаза.

## 15

Полтора года спустя в вагоне поезда, отправившегося из Праги на восток, в Карпаты, ехал я, инженер сельского хозяйства, с дипломом брновского института.

Говорят, что когда человеку повезет в чем-нибудь, ему тотчас же повезет и в другом. Сразу же после успешной сдачи экзаменов, когда так нужны деньги, чтобы расплатиться с квартирной хозяйкой, кухмистерской и обрести хотя бы мало-мальски сносный для инженера вид, на Верховине нашелся, наконец, покупатель, который купил старую, принадлежавшую мне хатку, стоявшую долгие годы с заколоченными окнами.

После выпускных торжеств я позволил себе посидеть с товарищами в «Золотом корыте». Затем были куплены в конфекционе пальто, костюм, темнозеленая шляпа, сменная кепи, а остальные деньги, маленькая сумма, были припрятаны на черный день, хотя я твердо был убежден, что счастье и удача будут теперь моими постоянными спутниками.

Да, я ехал в родные края, полный сил, надежд, жажды деятельности, ослепленный наивной верой в то, что путь моим бескорыстным стремлениям и планам будет открыт.

Долгие, очень долгие дни вынашивал я мою докладную записку о травах, которую намеревался адресовать управителям края. Я держал ее в памяти от слова до слова и мог бы всю прочитать наизусть. Я назвал ее скромно и, быть может, чересчур прозаично — «Записка о травах», и мне осталось только изложить ее на бумаге. Этим я и решил заняться на родине, у Горули.

Встречи с Горулей ждал я с нетерпением. Мне рисовалась минута, когда уляжется первая шумная радость и я поделюсь с ним своими заветными мыслями. Но чем больше я думал о предстоящем разговоре, тем сильнее овладевало мной какое-то беспokoйство, словно мне предстоял экзамен посерьезнее тех, что пришлось держать

в институте. «Может быть, — говорил я себе, — Горуля не поймет меня так, как бы я хотел? Лучше уж открьтись ему потом, когда все будет готово, все будет написано».

Скептическое, даже резкое отношение Горули ко мно- гому, что казалось правильным и целесообразным, отпу- гивало. Что-то удержало меня в свое время и от того, чтобы написать о встрече с губернатором в Брно. И теперь, дорогой, я решил сказать Горуле, что пишу научную запи- ску, а планы, связанные с ней, раскрыть потом.

Предупрежденный заранее о моем приезде, Горуля встретил меня в пяти километрах от дома, и нужно было видеть, с какой гордостью он вел меня затем через село, крича чуть ли не в каждый двор:

— Эй, куме! Видите, кто до нас приехал? Иван! — и, не задерживаясь, шагал дальше, словно боясь, что раз- говоры с людьми отвлекут меня от него. Даже с Гафией он не давал мне толком поговорить.

В хате, как и прежде, было бедно, но опрятно. Един- ственным украшением ее выбеленных стен служили глиняные, расписанные шестрым орнаментом тарелочки. Они стояли в ряд на потемневшей от времени дубовой полке, сделанной самим Горулей. В углу висело несколько фотографий. На одной Горуля был снят в егерской форме во дворе графского замка в Берегваре, на другой бродячий фотограф запечатлел Гафию: она стояла у хаты, с испу- ганным лицом, высокая, прямая, как солдат. Были тут и другие фотографии, знакомые мне с детства. Взгляд мой скользнул по ним и вдруг остановился на небольшом, вы- резанном из газеты портрете человека с усмешливо при- щуренными глазами, выпуклым лбом и аккуратно под- стриженной остроконечной бородкой.

Ленин! Ну да, это был Ленин. Я подался вперед, чтобы лучше разглядеть его черты.

Горуля перехватил мой взгляд.

— Узнаешь, Иванку, кто это?

— Узнаю...

— Ленин, — произнес Горуля и повторил, вслуши- ваясь: — Ленин... Кажут, на Волге родился... И пошел, по всей земле пошел!.. Теперь и я за ним, Иванку, как ком- мунистом стал...

— А не придираются здесь к вам, вуйку? — спросил я осторожно после некоторого молчания.

— Беда! — подхватила Гафия. — Кажут, легальные, легальные, а беда!

— Молчи! — строго приказал ей Горуля. — Я свою дорогу выбрал и никуда не сверну... Меня, Иванку, до окружного уряду тягали...

И Горуля начал рассказывать о том, как год назад, в начале зимы, пошел вдруг по селу бубнар и, отбивая па- лочками по барабану, стал выкрикивать, что всех добрых людей, желающих получить работу, ожидает в пошши- ной корчме приезжий человек.

Бубнари были не только в Студенице, но и в окрест- ных селах.

Работа! Что могло быть желанней для измученных поисками ее людей! Они хлынули в Студеницу к пошши- ной корчме.

Вместе с другими пошел и Горуля.

В корчме за длинным столом сидел вербовщик и что-то аккуратно записывал. Людей было много. Они заполнили всю корчму и, перебивая друг друга, выкрикивали:

— Пишите меня, пане!..

Горуля толкнул в спину своего приятеля Скрипку.

— Куда набирают?

— Бог его знает, — обернулся Скрипка, — лишь бы набирали.

— Под Рахов, говорят, железную дорогу, великий мост строить, — неуверенно произнес кто-то.

— А что, на Гуцульщине людей нема? — громко спро- сил Горуля. — Да и дорогу, я чул, больше одни чехи строят. Привезли своих с семьями...

— Кажуть, не хватает, работы много...

Это показалось Горуле странным, но все же вербовщик записал и его фамилию.

На следующий день двести завербованных, получив проездные и поставив на бумаге кто крестик, а кто и от- печаток большого пальца вместо подписи, пустились в путь. Их притянули за горное село у Тиссы, а там разме- стили на ночлег в пустовавшем рабочем бараке. Вербов- щик, проверив всех по списку, ушел с мастерами ноче- вать в село, пообещав завтра с утра ставить людей на работы.

В бараке было холодно. Федор Скрипка пристроился на полу рядом с Горулей и, гряхтя, восхвалял мать боже, которая сжалилась над ним и послала работу.

Горуля, слушая Федора Скрипку, думал о другом. Он никак не мог понять, почему их вели не через село, а в обход. Почему их поместили на ночлег в этом нежилом, обнесенном проволокой бараке? Его неясно тревожило еще и то, что у ворот барачного двора после ухода вербовщика и мастеров остались конные дозорные. Все это беспокоило Горулю. Но он пытался заглушить тревогу мыслью о том, что двести человек и сам он, Горуля, в том числе полу- чили, наконец-то, работу. С этой мыслью он начал укля- дываться спать, как вдруг заметил, что посередине барака стоит неизвестный ему человек в высокой меховой шапке. Горуля всмотрелся. Он знал всех завербованных в лицо, а это, молодое, обветренное до красноты, видел впервые. Да не один Горуля заметил незнакомого человека. Десятки глаз из всех углов устремились к нему, а он стоял не- подвижно, как в пол вросший, глубоко засунув руки в карманы черной куртки.

— Добрый вечер, товарищи!

Обращение «товарищи» было тогда так необычно, что люди растерялись и нестройно, глухо ответили:

— Вечер добрый.

Горуля поднялся и подошел к нему:

— Кто будешь?

Человек не ответил. Он только осторожно отстранил Горулю, чтобы тот не загоразивал ему людей, и снял шапку.

— Прошу выслушать меня, товарищи!

— Что ж, говори, послушаем, — ответило несколько голосов, и Федор Скрипка добавил:

— Только если доброе что скажешь, человекче! А ху- дое, так его хватит своего, занимать не приходится.

— Говори!.. Ладно!..

— За согласие выслушать меня спасибо, — произнес незнакомец, — а скажу вам все-таки недоброе. Три недели назад на мосту, что строят через Тиссу, по вине строи- тельной дирекции железной балкой задавило рабочего- сварщика, отца пятерых детей, Яна Водичку.

— Эх ты! — поморщился Горуля. — Чех, что ли, тот Водичка?

— Да, чех, из Моравской стороны... Пять детских гротов остались без кормильца. Пятеро детей рабочего человека остались сиротами. Ну, да что за беда панам из дирекции? Скажите, экая невидаль для них — сироты!.. Жена Водички обратилась к управляющему за пособием. Ей отказали. Рабочие-чехи послали своих депутатов, их и выслушать не захотели... И вот сегодня пятнадцатый день, как дружно и мужественно бастуют ваши товарищи, рабочие-чехи и раховские.

— Постой, постой, человеке! — перебил Горуля незнакомца. — Так нас, выходит, сюда привезли, чтобы мы на место других встали?..

— Так, — ответил тот, — именно так! Дирекция попыталась набрать на место бастующих других раховских, но раховские идти отказались. Тогда завербовали вас, из дальних округов.

Барак зашумел. Люди вскакивали с мест.

— Не слушайте его! — крикнул кто-то.

— Нехай говорят!

— Обманом привезли, матери их черт! — выругался Горуля. — А мы и не догадывались...

— Что обманом? — подскочил к Горуле потоцкий селянин Иван Сойма, у которого в Потоках осталось восемь душ детей. — Что обманом? — выкрикивал он, размахивая руками. — Нас это не касается! Мы сами по себе, а чехи сами по себе. Мы работать приехали! Мы без вины, каждый про своих диток думает! Так ведь я говорю, люди добрые? А если раховские с чехами заодно — это их дело.

— Замолчи ты! — прикрикнул на него Горуля.

— А может, то все брехня, люди?.. — выкрикнул Скрипка.

И весь барак сразу ухватился за эту соломинку.

— Видали мы таких! Придут, набрешут, а потом, глядишь, другие вместо тебя работают.

— Говори, кто такой?

— Из панов, наверно?

— Нет, не из панов, рабочий, печатник.

— А до чехов у тебя какая печаль? — ехидно спросил Федор Скрипка.

— Я коммунист, — сказал светловолосый, — и пригласил меня к вам комитет партии.

В бараке стало тихо. Люди стояли, потупясь. Горуля с уважением взглянул на говорившего. А тот продолжал:

— Человек человеку — волк, вот единственный панский закон, по которому они живут сами и думают, что живут другие. На этот свой закон и рассчитывали паны из дирекции, когда везли вас сюда, уверенные, что вы пойдете против чехов. А что, спрошу я вас, товарищи, разве у чешских батраков и рабочих пот не такой, как у вас? Может, он у них сладкий пот, а не соленый?.. У людей, у которых руки в мозолях, будь то чехи или русины, венгры или словаки, свой закон — товарищество! И партия коммунистов призывает вас к этому товариществу, — в нем сила рабочих людей, и пусть паны чувствуют ее!

— Ваша правда, — сказал Горуля.

— Она и ваша, — улыбнулся незнакомец и, окинув взглядом людей, спросил: — Что мне сказать бастующим?

Барак молчал. Горуля догадывался, какая борьба происходит сейчас в людях, и отголоски ее он ощущал в самом себе. И вдруг в нем поднялась злоба.

— Чего молчите?! — крикнул он. — Или мне за вас говорить, что ли?

— Ну и скажи, — глухо послышалось из разных концов, — как скажешь, так и будет.

— И скажу! — нахмурился Горуля. — Мы не пуды. Тяжко не солоно хлебавши до дому возвращаться... Ну, ничего! Мы не пуды, так и скажите.

Никто не возразил, но никто и не поддержал его словом.

— Добре, — произнес незнакомец, провед шпалкой по лицу и опустил на край скамейки. Посидев с минуту, он устало поднялся, собираясь уходить.

— Куда, на ночь глядя? — сочувственно сказал Горуля. — Оставайтесь до утра.

— Нельзя.

— Ну, тогда мы вас провожать пойдем, чтобы дозорные не задержали.

— И провожать меня не следует. А дозорные не задержат, я не через ворота пойду. За бараком лаз в проволоке сделан...

Он ушел. Несколько минут было тихо. И вдруг со двора донесся оклик, потом глухой топот и снова оклик, но уже отдаленный, и два хлопка выстрелов.

— Заметили! — выругался Горуля и бросился к двери, но дверь распахнулась, и в барак вместе с клубами морозного пара вкатился один из дозорных:

— Кто тут был?

— Никого не было, — ответил Горуля.

— Ну, смотри у меня, если неправда! — погрозил кулаком дозорный.

Горуля не сдержался:

— Кулаки спрячь! У нас своих здесь четыреста. Стукнут так, с другого конца земли выскочишь!

Дозорный злобно поглядел на Горулю, сплюнул и хлопнул за собой дверь.

Ночь прошла без сна. Утром, когда мастера подняли людей, чтобы вести на работы, они пошли, стараясь не глядеть друг на друга, уговаривая себя, что дело обстоит вовсе не так, как говорил ночной гость, и надеясь на то, что все само собой обойдется.

Горуля волновался. Порою он сдерживал в себе желание стать поперек дороги молчаливо шагавшим людям, но чуть подсказывало ему не делать этого сейчас. Надо идти до конца вместе с ними, до той решающей минуты, которая должна наступить.

Заснеженная дорога вела к Тиссе и к строящемуся через нее огромному мосту. Морозило. На раннем солнце матово поблескивали топоры и лопаты.

Едва приблизилась к реке, как увидели, что на дороге у моста, преграждая путь к нему, в три ряда стояли люди. Горуля, выбравшись вперед, стал всматриваться и нашел того, кого искал. Вчерашний гость стоял в первом ряду. Левый рукав был пустой, и между застежек куртки белела повязка забинтованной руки. Задело! Эх! Не уберечься! И этот человек оказался теперь Горуле старым, добрым знакомым, с которым что-то надежно связывало его еще со вчерашней ночи. Но не только светловолосого и бастующих разглядел Горуля.

— Детшки! — проговорил он. — Бачите, дитки стоят!

Теперь уже все идущие увидели детей. Пять маленьких закутанных фигурок стояло на дороге впереди взрослых.

Люди убавили шаг и смешались.

— Чего? Чего? — закричал вооруженный дозорный. — Не бойтесь, не тронут, а тронут — так не обрадуются. Ну, веселее да побыстрее!

Подчиняясь властному окрику, люди ускорили шаг, но, пройдя немного, внезапно остановились. Шеренга бастующих больше не преграждала им путь, она расступилась по сторонам, оставив на дороге пятерых детей погибшего сварщика Яна Водички.

Дети робели в этой странной, неестественной обстановке. Они то глядели вперед, на надвигавшуюся толпу людей по дороге, то на своих, стоявших теперь по обочинам. Мальчик лет четырех, самый младший, порывался перебежать через дорогу к матери, которая была неподалеку, но его удерживали старшие. И чтобы не было так страшно одним на дороге, дети взялись за руки.

Это была последняя, решающая минута. В какой-нибудь миг люди вспомнили все, о чем говорил им ночью человек в высокой меховой шапке, что пытались они заглушить в себе. Им даже начинало казаться, что никто не приходил к ним ночью в барак и никто ничего не говорил им, а это были их собственные слова и мысли.

Горуля по глазам сгрудившихся вокруг него людей прочел, что все решено и кому-то оставалось сделать первый шаг. Он выбрался из толпы и спокойно, неторопливо пошел к мосту.

— Куда? — заорал дозорный. — Назад!

Горуля не обернулся, чувствуя, что десятки глаз следят за ним. Он подошел к бастующим, поклонился им и, обернувшись, стал впереди детей, будто заслоняя их. И когда он это сделал, из толпы, перед которой гарцевали на конях дозорные, отделился человек двадцать и пошел к нему. За двадцатью последовали еще и еще.

Дозорные и мастера метались, пытаясь удержать людей, но ничего не могли сделать: двести завербованных в нашей округе встали рядом с бастующими чехами и раховскими гуцулами. Все перемешалось. Федор Скрипка очутился между двумя чехами; взявшись все трое за руки, они встали поперек дороги. К ним примыкали другие. И многосемейный Иван Сойма из Потоки, протискавшись к Горуле, дергал его за рукав и, поминутно оглядываясь, приговаривал:

— Смотри, сколько нас!

— То-то оно, человек, — гудел в ответ Горуля. — Товарищество!..

Дирекция вынуждена была сдаться. Пособие сиротам Водички было выплачено, строители приступили к работе, а завербованные отправились домой. Возвращались они злые, клына на чем свет стоит фирму, панов из дирекции, по чьей вине погиб рабочий человек, всех других панов, а заодно и тяжелую долю безработных.

Всю дорогу от Рахова Горуля ехал вместе со своим новым знакомым. Они долго беседовали, сидя в углу вагона, и сразу смолкали, если кто-нибудь проходил мимо.

Когда поезд подходил к Мукачеву и начали прощаться, Горуля сказал светловолосому:

— Договорились мы с вами обо всем, и, сдаюсь мне, на всю жизнь, а вот как вас звать, не спросил.

— Олекса Куртинец, — улыбнулся тот и крепко пожал руку ошеломленному Горуле...

\* \* \*

— Так я и повстречался, Иванку, с сыном покойного Михайлы Куртинца. Светла жизнь!

— А зачем же вас, вуйку, в окружной уряд вызывали?

— Вот после этого и потянули да начали припоминать, кто я такой, Илько Горуля.

— И припомнили, — сказала через плечо Гафия.

— Припомнили, — усмехнулся Горуля и провел ладонью по лицу. — Видел я, дуже им хотелось, чтобы у меня душа под кусточек сховалась, тоже нашли пугливого! Я их теперь не боюсь, я слово знаю... Ну, призвали, спрашивают: «В русинской Красной гвардии состоял?» — «Сражался», — говорю. «А в девятнадцатом году манифест подписывал о присоединении Подкарпатского края до Украины?» — «Да, говорю, подписывал». — «Зачем подписывал?» — «Эх, говорю, пане начальник, каждого человека до своей хаты тянет». Видать, не понравилось им такое, аж стульцы под ними затрещали. «И теперь, спрашивают, не успокоился?» — «Где тут! говорю. Пробылся к матери, а загнали к мачехе». — «Коммунист?» — спрашивают. «Нет, говорю, не коммунист». Ну, покружились они, покружились, видят — толку им от меня мало. «Темный, говорят, русин, да и отпустили. А со следующей недели я и правда коммунистом стал... Вот тебе дорога моя.

Я смотрел на Горулю и не узнавал его, так он изменился. Он стал открытей, сильнее, добрее. Это была не безвольная и не слепая, а мужественная доброта знающего теперь свою дорогу человека.

Гафия поставила на стол миску с горячим токаном. Я был голоден и ел с аппетитом.

— Ну, а как вы тут все живете, вуйко?

— Живем, — протянул он. — Вот полседа по Матлаховой земле ходит. Пел, что тот соловей, а потом зубами щелкнул. Богат Матлах! Видел, какой дом поставил? А? Не видел? Ох, да ты же с другой стороны шел! Сразу за селом стоит его новый дом. Пришлось мне раз побывать в нем. Не пошел бы, да сам Матлах зазвал. Ну зашел, а Матлачиха на стол и сливовицу, и сало. Поговорили то, се, а потом Матлах меня и спрашивает: «Зачем это ты, куме, против меня народ крутишь?» А я отвечаю: «Не был бы ты, куме, разбойником, я б и не крутил». Ну, думаю, он вскочит. Так ведь, знаешь, не то что не вскочил, даже не покраснел, только головой помотал: «Зря ты так про меня. Завидуешь». — «Нет, говорю, нисколько, какая зависть у человека к волку? Ты из людских жилок богатство себе вьешь». Другой бы стал клясться и божиться, что сам ночей недосыпает, что богатство своим горбом нажито, а этот — нет. «Что же, говорит, не я первый, не я последний». — «Не ты первый, это, отвечаю, правда, а вот последним можешь ты оказаться». Ну, полюбезничали мы с ним так, а потом он и приступает: «Что тебе надо в хозяйстве, куме, я тебе помогу». — «Уж не так ли, как ты в лютый год селу помогал?» — «Нет, отвечает, я в самом деле помогу, только ты разговоры про меня брось». — «Купить, значит, меня решил?» — спрашиваю. Хотя все глаз у него моргнул. «Да, говорит, купить. На свете все покупается и продается. Только от цены зависит». — «А бог, спрашиваю, как?» — «Ну, уж, говорит, куме, если на то пошло, то и бог смотрит, кто какую свечку поставил». — «И не грех тебе так говорить?» — «Грех не камень, отвечает, ко дну не тянет». — «Да, говорю, куме, грех тяжел для бедного, а для богатого — ничего, богатый откупится. Но от меня ты не откупишься».

...Нет, не человек он вовсе, Матлах-то. А как хворать ногами стал, так совсем облютел. И людишек к себе подбирать. Завел сучку одну, кажут из шулеров.



Матлах его будто на Словатчине от расправы спас и теперь при себе держит, говорит — секретарь. Грамотный песиголовец, это верно, а нет такого поганого дела, за которое бы не взялся. Напился раз в корчме и говорит: «Як бы мне богом стать, я б тогда всех людей передушил, шнурочек вокруг шеи — и готово». И завистлив черт, сам с мышь, а зависти с гору. Всему завидует — и Матлаху, что тот богат, и деду Грипану, что от сынов почет, и Соляку Михайле, что у того дочка на всю Верховину красавица. Котенку, и тому позавидовал. Идет раз по селу, а у дороги — котенок на солнце резвится, ну и убил котенка из зависти, что тому весело было. А Матлаху такой человек на руку. Где Матлах сам побрезгует, там Сабо этот, Сабо его зовут, дело сделает... Впился в нашу жизнь Матлах, Иванку, впился и сосет ее...

«Вот как все обернулось с Матлахом, — думал я. — Возвратился человек из Америки, кажется, с пустой тайстрой, а теперь полсела на его земле...»

— Вуйку, — спросил я Горулю, — а укротить Матлаха не пытались?

— Было уж дело, — проговорил Горуля. — До уряда в Сваляву ходили, а там кажут: «У нас в республике свобода, кто как умеет, тот так и добивается своего... А Матлах, кажут, никого не убил и на дороге не грабил, все у него законно».

— Да ведь уряд не в одной Сваляве! Есть Ужгород, есть Прага!..

— Одна веревочка, — безнадежно махнул рукой Горуля и заговорил о другом.

Горуля торопил меня идти на полонину.

— Дай ты человеку в хате пожить, — говорила Гафия.

— В хате, в хате, — ворчал Горуля. — Ему темно в хате, вот что!.. Ему якусь ученую книжку надо писать...

— Ну и пусть себе пишет, — отвечала Гафия. — Разве я говорю: не пиши? Так ему же здесь лучше. У тебя на горе ни стола, ничего...

— От важность! — поводит плечами Илько. — Я твой стол да стул коняге на спину — и к себе под небо...

И он действительно привел конягу, нагрузил ему на спину стол и стул, раздобыл где-то керосиновую лампу с разбитым, заклеенным газетной бумагой стеклом, и мы двинулись из села.

Я подчинился Горуле с охотой, потому что не хотел лишать его того удовольствия, которое он получал, видимо от хлопот, связанных с моим устройством.

Придя на полонину, Горуля выселил из малой колыбы троих чабанов, поставил под дымовым отверстием стол и строго приказал, чтобы никто не тревожил меня во время работы. И в самом деле, чабаны осторожно обходили колыбу, и если случалось сторожевой собаке залаять поблизости, на нее махали руками, шикали и гнали прочь. Но сам Горуля нет-нет да и заглядывал ко мне во время работы. Он осторожно становился позади стула и смотрел через мое плечо на ровные, четко написанные строчки, щелкал языком:

— Добре у тебя выходит, Иване! Красиво! Нет, мне бы так никогда не написать!..

Однажды Горуля зашел вечером. Было уже совсем темно. Посреди колыбы горел небольшой костер, и сизый дымок, точно стройное деревце с распущенной кроной, тянулся к звездному небу, видимому сквозь широкое от-

верстие в крыше. Я лежал на пружинящих еловых ветках, отдыхая после непрерывного сидения за столом.

— Пришел повечерять к тебе, — сказал Горуля и, подойдя к костру, высыпал из подола рубашки в горячую золу картофелины, затем, пристроившись на корточках, неторопливо достал из кармана завернутый в тряпицу кусочек сала, насадил его на кончик обструганной палочки и стал ждать, пока не испечется картошка. Это был его излюбленный ужин: печеная картошка, на которую он капал растопленное над огнем сало.

Вечерняя тишина, костер, приятная усталость, сознание близкого конца работы — все это настраивало на мечтательный лад. У меня появилась потребность поделиться с Горулей своими планами.

— Вуйку, — сказал я, — а ведь у меня дело уже скоро к концу пойдет.

— Да ну? — удивился Горуля.

И, лежа на еловых ветках, я принялся рассказывать Горуле содержание моей записки.

Я словно рисовал заманчивую картину того, какими могут быть поля Верховины. Они представлялись моему взору в густой, переливающейся под солнцем зелени многолетних трав, несущих новую жизнь и силу почве. Там, где вызревал, звеня сережками, один только овес, волновалась полноколосая пшеница.

Горуля слушал очень внимательно.

— Иванку! Слухай, — перебивал он меня, — а про скот? Еще и про скот скажи. Кто знает, может, придет час для Верховины, что и по ней будут такие стада пастись, як, я вот чул, в Швейцарии, а может, краше? Гей и скот! Бербениц для молока не хватит. Да не молоко то будет — что я! — самое масло! Спросят люди: откуда оно, такое сладкое и такое душистое? С Верховины? Як же, куме! Гей и скот там у них!.. Ну, да дело твое, Иванку, можешь и не писать, — уже бормотал Горуля, — бог их знает, откуда такие думки у меня, что у малого.

— Нет, вуйку, — отвечал я Горуле, — я и про это запишу.

— Вот и добре, — улыбался Горуля, — пусть такая думка хоть на бумаге будет.

Когда я кончил рассказ, Горуля долго молчал, глядя в огонь.

— Вуйку! — не вытерпел я. — Что же вы слова не скажете?

— Все у тебя красиво получается, Иване, — восторженно Горуля. — Можжевательник геть с полонины, псянку — с поля. Ну, а Матлах?

— И Матлаха с Верховины, как псянку, — ответил я. Горуля поглядел на меня.

— Кто же его так?

— Те, кому правительство поручит заняться делами Верховины.

— Правительство... Это пан губернатор, что ли?

— Не знаю, — сказал я, — может быть, и он.

— М-м... — протянул Горуля. — Ну, садись вечерять. Из-за тебя весь картофель чуть не обгорел.

Ужинал Горуля торопливо, был неразговорчив, сумрачен и ушел раньше, чем уходил обычно.

Мне было не по себе за ужином, а после ухода Горули так и вовсе смутно стало на сердце.

Сел за работу, чтобы унять возникшую досаду, но писать ничего не мог; попытался уснуть, а сон бежал от меня.

Уже поздно в ночи возле колыбы послышались осторожные шаги. Шаги замерли у входа. Кто-то остановился, не решаясь войти и потревожить меня. Мне подумалось, что это Горуля, и я окликнул его. Он отозвался покашливанием и, согнувшись, пробрался в колыбу.

— Не берет сон? — спросил он, подсаживаясь ко мне на ложе из сена и еловых веток.

— Не спится.

— Я так и гадал, что не спишь, а ночь длинна еще!..

Помолчали. Вдруг Горуля повернулся ко мне и, тронув за плечо, спросил:

— Ты и вправду, Иване, надумал до пана губернатора со своей запиской идти?

Я приподнялся:

— Да, вуйку. А почему вы спрашиваете?

— Потому, что долго я про это думал, — глухо ответил Горуля. — Ничего ты у них не найдешь и ничего не добьешься.

— У кого это, у них?

— Да у тех панов, — сказал Горуля. — Зачем им нужна сытая Верховина? Ну, скажем, губернатору?

— Губернатор не Матлах.

— Все едино, — махнул рукой Горуля. — Одна разница: Матлах сало руками в рот кладет, а пан губернатор — вилочкой. Ну зачем им сытая Верховина? Им наши руки дешевые нужны и лес наш нужен. Для них, Иванку, Верховина, что колодец: из него ведрами, а в него ни чарочки... Ну, прочитают они то, что ты написал, а потом и спросят: «Какая нам с этого прибыль? Ильку Горуле да Федору Скришке прибыль? Ишь, чего захотели!» — и делу твоему конец.

— Неправда! Я добьюсь своего.

— Скрутят, — сказал Горуля, — да надсмеются.

— Над чем? Над тем, что я хочу, чтобы Верховина не знала голода?

— Над этим и посмеются.

Я быстро встал, ощущая, как растет во мне озлобление.

— Мрачно у вас все получается, — произнес я с усмешкой. — Вы делите всех на панов и бездельных, но есть ведь просто люди, честные люди с доброй волей.

— Просто людей нема, Иване, — строго сказал Горуля. — Есть Матлахи, и есть Горули, и между ними война... А ты подумай, Иване, подумай, что я тебе сказал.

После этого ночного разговора в наших отношениях с Горулей появилась какая-то тень. Внешне все оставалось как будто попрежнему, но и он и я не чувствовали себя друг с другом так хорошо и свободно, как раньше, и это угнетало меня.

К тому же и работа не клеилась. Все валилось из рук, раздражало и злило.

Погода в ту пору стояла чудесная. Ни облачка в небе, ни ветерка в полонинах. Зеленые горные дали млели под солнцем в глубоком покое. И я от зари до вечерних сумерек бесцельно бродил бог весть где с охотничьим ружьем Горули через плечо, не делая ни одного выстрела.

В один из таких дней Горуля собрался в село и позвал меня с собой. Идти в село мне не хотелось, но я решил проводить Горулю через лес.

По полонине шли мы обычной пастушьей дорогой, но у лесной опушки Горуля взял влево и вывел меня на незнакомую тропу.

— Примечай, — сказал он, когда мы углубились в лес. — Этой и вернуться, она самая короткая.

Иногда тропку перерезали глубокие, размытые потоками овраги, и перебираться через них приходилось, балансируя по зыбким бревнышкам.

Лесом шли долго, а когда он кончился, перед нами открылись склоны в полянках и пашнях.

— Ну как, Иванку, — спросил, обернувшись, Горуля, — может, передумал и дальше со мной пойдешь? До села не так уж далеко.

Я был готов согласиться, но, оглянувшись вокруг, заметил справа от тропы, за пашнями, поросшую мелким кустарником небольшую скалу. Одиноко и странно торчала она посреди луга, как будто кто-то снизу проткнул землю пальцем.

— Это что? — спросил я Горулю, кивнув в сторону скалы.

— Не знаешь, что ли? — усмехнулся Горуля. — Желтый камень не знаешь?

— Желтый камень?

И почувствовал, что на меня дохнуло нежным медвяным запахом. Желтый камень! Как я не узнал его? Просто никогда не приходилось на него смотреть с этой стороны.

— Мне он всегда казался таким высоким, вуйку, — проговорил я в свое оправдание.

— В малолетстве многое что высоким кажется... — кивнул Горуля. — Ну, так что, Иване?

— Лучше я поброжу, — сказал я.

— Как знаешь, — проговорил Горуля и с грустью добавил: — Броди, пока бродится.

Я подождал на тропе, пока Горуля скроется под крутым уклоном, а затем свернул на луг и пошел к Желтому камню.

Вот и он, наконец, весь в трещинах и буро-зеленых прожилках. Ветер бросил на его тупую макушку семя смородины, оно проросло и стало тоненьким, еще не обрешшим деревцем, и казалось, что деревце это случайно забралось на вершину и все глядит вниз и примеряется, как бы ему оттуда слезть. А внизу, у подножья камня, среди можжевельника, пробивалась к свету трава. Я нагнулся, чтобы рассмотреть ее, и вдруг заметил среди травинки одну с мелкими, величиной в спичечную головку, уже высохшими завязками. Должно быть, она цвела ранней весной. Уж не эту ли траву приносила мне в холщовой тряпочке Оленка? Далекое и давно забытое воспоминание в моей памяти: детство, и разговоры о поездке в Воловец, и белая тряпочка с чудесной травой против недоброго.

И в памяти моей, как живая, встала Оленка. Еще в первый день моего приезда мне хотелось повидать ее, но она батрачила где-то на дальнем хуторе.

Я знал, что живет Оленке очень плохо, что после смерти мужа остался у нее на руках сын и что ютится она в чужой, брошенной хозяевами кате за мельницей, а работает попрежнему у кого придется.

«Может быть, сейчас застану ее дома?»

Я не вернулся на тропу, а пошел в село напрямик, как в детстве, продираясь сквозь кустарники.

Через час я был уже за мельницей у Оленкиной хаты. Придавленная к земле замшелой крышей, стояла она на сваях возле самого потока. В половодье выходявшая из берегов вода плескалась под хатой и заливала двор.

Я постучал в дверь, но никто не отозвался. Я постучал вторично, настойчивей и сильнее. Опять молчание. Тогда я решил, толкнул дверь и вошел в хату.

Мрак ослепил меня. Желтым пятнышком светило единственное, величиной в две ладони, окошко. Солнечный свет никогда, видимо, не проникал сквозь него, но и дневной свет, мутный и какой-то зыбкий, просачивался еле-еле.

Только привыкнув к мраку, я различил стол, скамейку и возле стены настил, служивший кроватью, но и этот настил был сооружен не из досок, а из обтесанных топором толстых жердей.

— Есть кто в хате? — спросил я.

— Е, — послышался старческий голос.

Я всмотрелся пристальней и увидел в углу костлявую, маленькую, с худым и очень выразительным лицом старуху. Она сидела, поджав под себя ноги, на краю самодельной кровати и курила глиняную на длинном черенке трубку, какие у нас, на Верховине, частенько курят старухи.

Возле старой женщины, тяжело и порывисто дыша, лежал завернутый в гуноу ребенок лет четырех-пяти.

Я поздоровался. Старуха ответила кивком головы и стала внимательно разглядывать меня.

— Кого надо? — спросила она наконец.

— Олену, — сказал я торопливо. — Она здесь живет?

— Где же ей еще жить? — прохрипела старуха и выпустила изо рта облако табачного дыма. — Здесь. А вам ее зачем?

— Хотелось повидать, — сказал я. — Давно не видел... Я сам студеницкий.

— Студеницкий? — с любопытством переспросила старуха и вынула изо рта трубку. — Через мои руки, слава богу, все студеницкие хлопчики и дивченки прошли... богато прошло, не сосчитать. А вы чей будете?

Я назвал себя. Старуха улыбнулась.

— Марийкин сынок? Помню, помню, все добре помню. Без голоса родился, а сыграла я с тобой в лоптки — закричал на весь божий свет. — И, еще раз внимательно окинув меня взглядом с ног до головы, сказала: — Гей, яким паном стал!.. Ну, а Олены дома нема: пошла к Матлаху хлеба житного попросить для хлопчика. Хлопчик, видишь, хворый, все без памяти лежал, думали, не выживет, да отходили... Есть просит, а хлеба нема... Может, Матлах сжалится и даст.

— Как же не дать, ведь Олена на него с детства работала!

— Работала, работала! И за свиньями ходила, и в поле, а как сама хворать стала да еще хлопчик занемог, так гэть со двора!

Ребенок застонал, заворочался. Старуха склонилась над ним, беззвучно шевеля губами.

Я сам знал нищету, с детства привык не удивляться ей, но такой злой и тяжелой нужды, как здесь, у Олены, не видел еще ни разу.

Олена долго не шла.

Сказав старухе, что зайду попозже, я быстро направился домой, чтобы взять несколько крон из скудных моих сбережений и купить какой-нибудь еды для Олены и мальчишка.

От мельницы до горулиной хаты было рукой подать.

— Вот так-то! — удивился моему появлению Горуля. — Звал — не пошел, а теперь сам явился... Да ты что тучи черней?

Я уже собирался объяснить, почему я пришел в село, как снизу, где вилась сонная сельская улица, раздалась

крики, вернее это был один крик, протяжный и угрожающий, на одной ноте «а-а-а-а», и в него влетали десятки перекликающихся голосов, невнятных, но тоже полных угроз.

— Что там такое? — спросил я, вслушиваясь.

— Кто их знает! — ответил Горуля, ставя на землю бербенцу. — Может, хлопчики в войну играют?

Мы подошли к окошку и увидели, что из соседней хаты выбежали хозяева и тоже прислушиваются.

Улица была пустынна. На улюлюканье, свист и голоса быстро приближались.

Мы вышли за ворота.

Вдруг на дороге появилась женщина. Она бежала изо всех сил в сторону мельницы. А следом за ней из-под разросшихся над улицей деревьев выкатилась толпа. Впереди, размахивая жердью, мчался невысокого роста мужчина, заметно выделявшийся в селянской толпе своей городской одеждой. Вот он на мгновение задержался и неловким толчком слабоспльного человека метнул вслед женщине жердь. Жердь, как копые, просвистела низко над землей, но не задела преследуемую. Крик ярости и досады прозвучал в знойном, неподвижном воздухе, а женщина побежала еще быстрее, но чувствовалось, что силы ее вот-вот сдадут.

Слишком велико было расстояние от плетня, возле которого мы стояли с Горулей, до дороги, чтобы различить лица бегущих, но тревожная догадка мелькнула в моем мозгу.

— Вуйку! — крикнул я, хотя Горуля стоял рядом. — Это Штефакова Олена!

И, перемахнув через плетень, я не побежал, а покатился по склону к дороге. Горуля последовал за мной. Щебень осыпался под нашими ногами, мелкие камешки со стуком отлетали далеко в стороны.

Несколько хат, стоявших пониже хаты Горули, на некоторое время скрыли от нас сельскую улицу, но крики слышались все ближе и явственней, они врвались в уши приборами вместе со свистом воздуха.

Обогнув одну из хат, мы увидели Гафию. Она спешила снизу к нам навстречу. Черная хустка сползла с ее головы на плечи. Лицо было перекосено от ужаса. Завидев нас, Гафия остановилась и прижала руки к груди.

— Ой, мать боже, — произнесла она, задыхаясь, — убьют Матлаха, убьют!..

— Кого убьют? — крикнул, не останавливаясь, Горуля.

— Штефакову Олену! — бросила Гафия и, повернувшись, побежала рядом с нами.

— За что он ее?

— Хлебца житного пришла попросить для хлопчыка хворого, — тяжело дыша, отвечала Гафия. — Не дали... Увидела, что свиньям в корыто корочки высыпают, подкралась и схватила! А этот, матлаховский Сабо, заметил да с сынком Матлаха, с наймаками и кинулся за Оленкой. «Воровка!» — кричит... Убьет он ее, Сабо...

Не помню уж, как мы очутились возле дороги. Я только успел заметить не выражавшее ни страха, ни отчаяния изможденное и незнакомое мне лицо женщины, следом за плечами мелькнули разъяренные лица рослых матлаховских наймаков, набранных им в глухих селах гучульщины.

Их было человек пять.

— Бей! — истушенно крикнул один из наймаков. — Бей! — и первым бросился к Олене.

Я и опомниться не успел, как набежала селянская толпа и над дорогой взметнулась пелена горячей пыли.

Мы врзались в самую гущу толпы.

— Люди, что вы делаете? — слышен был голос Горули. — Гэт, гэт! Говорю я вам!

Я наступал рядом с Горулей. Локти мои и кулаки прокладывали дорогу.

Бто-то меня ударил в лицо. Саднящая боль вспыхнула на щеке. Я пошатнулся, но устоял и сам встретил ударом. Ярость овладела мной совершенно. Я наносил удары налево и направо, не щадя никого. Наймаки отскакивали в стороны, встряхивались и словно приходили в себя. Немигающими и потерявшими осмысленность глазами смотрели они то на меня, то на Горулю.

А я пробивался к узколищему, седому и щедеушному человечку с галстуком, вывязанным бабочкой. Несомненно, это был матлаховский секретарь Сабо. Он трусливо держался все время за спинами наймаков и, размахивая руками, что-то неистово выкрикивал.

Но добраться мне до него так и не удалось. В какое-то мгновение я вдруг потерял его из виду и, сколько не искал потом глазами, найти не мог, он будто сквозь землю провалился.

Глубок поредел, внезапно стих и расступился, образовав полукруг возле Олены. А посреди улицы, в пыли, ничком лежала Олена. Одежда на ней была изорвана, одной рукой она прикрывала голову, а в другой, вытянутой вперед, была у нее зажата корка хлеба.

Я склонился над Оленой и назвал ее по имени. Она простонала и с трудом подняла голову. Глаза наши встретились. Ничего, кроме усталости, не было в ее взгляде, но только по одним этим глазам я мог узнать в изможденной, забитой нуждой женщине матлаховскую няньку, первую мою детскую любовь — Оленку.

— Иванку, — чуть слышно прошептали запекшиеся губы, — ты?

— Я, Оленка. Узнала?

— Узнала... Ой, как давно не виделись!.. Били меня, Иванку, били... — и заплакала.

Подожли Гафия и еще две женщины. Я помог им поднять Оленку с земли, и они повели ее.

— Эх, вы! — гневно поглядел на наймаков Горуля. — Кого били? Такую же, как и вы сами... Себя били...

— Нам что, — попытался оправдаться один из наймаков, стирая с лица кровь, — нам сказали, вот мы и...

Но его никто из наймаков не поддержал.

— А вы чего не вступились? — зло спросил Горуля односельчан. — Матлаха испугались?

— Правда, что так, — отозвался Федор Скрипка, — Матлахов тронешь — пропадешь...

И люди, стараясь не глядеть друг на друга, стали расходиться.

Поздно ночью мы вернулись с Горулей на полонину. Рана у меня на щеке саднила и ныла. Уснуть я не мог. Закроешь глаза — и все мерещится вытянутая в пыли рука Олены, сжимающая корку хлеба.

Я поднялся, зажег свечу и, перечеркнув написанную на заглавном листке «Записку о травах», вывел: «Записка о Верховине».

С той ночи жил под впечатлением этой страшной картины. Несколько раз спускался я с полонины навестить

Олену, помогал ей, чем мог. Она лежала в своей хатке у мельницы, ко всему безразличная, неподвижная, выпростав из-под рьяна темные, огрубевшие в труде руки, и, глядя на них, припоминал я руки матери и руки Гафии. Чего только не переделали руки эти на своем веку, сколько земли ими вскопано, сколько изумительных узоров вышито, сколько добра и богатства для других создано, и разве весь мир не держался на этих, не знающих усталости, золотых руках?!

Иногда Олена поворачивала в мою сторону лицо, и в чудесных ее глазах была уже не скорбь, а мучительный вопрос доведенного до отчаяния человека.

— За что, Иванку? За что нам так? Ну, ты скажи, чем я прогневала мать боже? У меня и часу нема свободного, чтобы грешное подумать... Когда такой жизни конец? Когда ей конец, Иванку?

Олене становилось трудно дышать, и она затихала. Злой комок подступал к моему горлу. Я стискивал зубы и молча поглаживал большие узловатые Оленыны пальцы.

Записку я писал заново, совсем по-иному, чем она ложилась в моем представлении раньше. Из сдержанной, научно бесстрастной она превращалась в рассказ о бедствиях Верховины. Я говорил не об одних травах, но и о Семене Рущаке, Олене, Матлахе, закабалившем Студеницу. Превратившись в статистика, я изъездил горные округи и приводил теперь собранные мною цифры кабальных долгов, растущей год от года смертности от голода и недоедания.

Я был убежден, что власти в Праге и Ужгороде не знают истинного положения на Верховине, что его скрывают от них засевающие в округах на тепленьких местечках чиновники. Следовало как можно скорее открыть им глаза.

## 16

Шагах в ста пятидесяти от кошар на крепко вбитых в землю жердях был сооружен пастухами навес. Если не считать полутемных колыб, это единственное тенистое место во всей открытой солнцу чабанской стоянке.

На брошенных под навес Горулей охапках свежего, душистого сена расположились двое: я и депутат чехословацкого парламента по списку партии коммунистов. Без куртки и шляпы, в распахнутой, с короткими рукавами сорочке, мой новый знакомый полулежит, опершись на локоть, держа перед собой листы моей записки.

Я очень волнуясь, хотя и знаю, что не от этого человека зависит судьба моей работы и успех моих планов.

Я ложусь навзничь и, чтобы унять волнение, начинаю прислушиваться к бульканью близкого родника. Но в этот звук с ровными интервалами врывается шелест прочитанной и перевернутой страницы.

Ранним утром разбудили меня сегодня оживленные голоса людей и чей-то незнакомый, но такой веселый смех, что даже у меня спросонья он невольно вызвал улыбку.

Я припал к щели между бревнами и увидел невдалеке от колыбы Горулю и еще несколько человек, в которых признал наших селян и лесорубов с недалекой от полонины лесосеки. Лишь одного человека признать я не мог. В куртке защитного цвета, в узкополой, сдвинутой на затылок шляпе, обутый в тяжелые горные башмаки, он стоял, опершись о кривую березовую палку, и, вытирая

платком усы, оживленно говорил что-то окружающим его людям.

По рассказам Горули и Гафии я кое-что знал уже об этом человеке, а многое мне довелось услышать впоследствии и от самого Куртинца.

После гибели отца Олекса с матерью уехали далеко от нашей округи, на гуцульщину, в Великое Бычково. Это был поселок рабочих химического завода и лесорубов, среди которых жила добрая память о бывшем заводском механике — одном из вожаков русинской Красной гвардии. И не только оставшиеся в живых друзья его, но совсем незнакомые люди старались, чем только могли, помочь Марии Куртинец обосноваться на новом месте. И особенно запало семилетнему Олексе в душу то, что люди, помогавшие им, делали это без жалостливости, никто не называл его здесь бедным сиротинкой, никто не вздыхал над вдовьей долей матери, даже женщины. В селе на Мукачевщине было совсем по-другому, а тут приходили и говорили:

— Дрова привезли, хозяйка, укажи, где складывать.

Или:

— Принимай метр тенгерицы. Будет — отдашь.

А иной раз так и вовсе ничего не говорили, залезали на крышу, чтобы покрыть новой дранкой прохудившееся место или выложить новую трубу взамен развалившейся.

Хлопчику, привыкшему уже к вздохам и жалостливости, новые люди казались суровыми и совсем не такими добрыми, как говорила о них мать.

Однажды на берегу Тиссы, куда любил ходить Олекса смотреть, как ловко гонят бокораша по быстрой реке плоты, заметил он запутавшегося в цепких зарослях кустарника жеребенка. Страх или ребятишки загнали его сюда, Олекса не знал. Жеребенок выбился уже из сил, а стреленная матка скакала у кустов и ничем не могла помочь своему детенышу.

И до того жалко стало Олексе матку и жеребенка, что у хлопчика на глазах выступили слезы.

— Твой, что ли? — услышал он позади себя голос. Обернулся и увидел жилистого, невысокого роста человека в мокрой одежде и с топором на плече.

— Не мой, — ответил Олекса, признав в появившемся человеке бокораша, одного из тех, кто крыл дранкой крышу их дома.

— А плачешь чего? — спросил бокораш.

— Жалко.

Бокораш усмехнулся.

— Добрый, значит.

— Добрый, — протянул Олекса.

— Нет, ты не добрый, брат, — строго произнес бокораш и приказал: — Отгони матку, бери топор и руби кустарник.

Олекса, повинувшись приказанию, отогнал лошадь, взял у бокораша топор и принялся рубить кустарник. Делать это было Олексе тяжело, кустарник пружинил, жеребенок ржал и бился в зарослях.

— Так, так, — приговаривал бокораш, глядя на Олексу, но сам не трогался с места.

Наконец кустарник был разрезан, жеребенок выпрыгнул на волю и опрометью помчался к матке.

— Вот теперь ты добрый, — проговорил бокораш, принимая из рук Олексы топор. — Жалость со слезами, а добра — с мозолями. Это бабка твой говорил нам, хлопчику.

И, вскинув топор на плечо, зашагал к поселку.

Слова эти Олекса помнил всю жизнь.

Марию Куртинец друзья устроили на завод мойщицей посуды, а Олекса вскоре пошел учиться в заводскую школу.

Рос он хлопчиком слабым, худым, болезненным.

— Не долгий он жилец, — говорили о нем соседи.

Но Олекса жил, жил, казалось, наперекор всему, и вместе с ним жила в его душе память о погибшем отце. Сначала он не мог понять, почему другие умирают, проходит год, и кажется, будто забыли о них, а об его отце вспоминали часто не только он, Олекса, с матерью, но и чужие люди. И хлопчик уже не довольствовался тем, что знал, а допытывался, за что погиб отец и почему о нем такая добрая память.

— Чтобы людям радостно жилось на свете, — говорили ему, — чтобы не было неправды, обид, злыдней. За это и память о нем такая добрая, хлопчику.

И вместе со жгучей ненавистью к тем, кто убил отца, в Олексе росла и крепла жажда стать таким, каким был отец. И кто знает, может быть одна эта жажда и поддерживала его слабые силы и жизнь.

Когда Олексе исполнилось пятнадцать лет, он вдруг заявил, что пойдет бокорашить на горную реку Теревлю.

— Одурил хлопец, — удивлялись соседи. — В самом душе нивесте на какой нитке держится, а он в бокораша!

Мать уговаривала его искать работу по силам.

— Ты знаешь, что такое бокорашить? — кричала она. — Какие реке люди нужны?

Да, Олекса знал, что нет в Карпатах другой такой трудной и опасной профессии, как водить плоты по быстрым, порожистым рекам, знал, и какая для этого требуется от человека выносливость, смелость, сила. Но выносливость, сила, смелость нужны были Олексе для того, чтобы стать в жизни тем, кем он задумал, и хлопец вбил себе в голову, что именно труд бокораша закалит его слабое тело и научит быть смелым.

Решимость Олексы не могли сломить ни уговоры матери, ни смех, поднявшийся в сплавной конторе, куда Олекса пришел наниматься. Смеялся управляющий конторой, смеялись бокораша. И приняли Олексу на работу тоже смеха ради, чтобы поглядеть, как сбегит этот большеглазый заморыш от непосильного для него дела.

Олекса не сбегал. Он помогал ладить плоты, таскал бревна, работал цапиной — палкой с острым крючком, которой скатывают к воде лес. Иной раз Олексе самому казалось, что вот-вот он не выдержит непосильной работы, упадет и не встанет, но когда кто-либо из сердобольных бокорашей приходил к нему на помощь, у хлопца такой злобой загорались полные слез глаза, что бокораш и сам не рад был своей сердобольности.

— Что, не сбегал еще тот заморыш? — спрашивал сплавщиков управляющий.

— Нет, — смущенно отвечали бокораша, — держится!

Прошло некоторое время, и не только сам Олекса, но и другие начали замечать, как наливаются силой Олексины руки и как в его запавших глазах появляется живой блеск. А потом, когда он начал самостоятельно водить плоты по неверной Теревле, старые бокораша, смеявшиеся некогда над Олексой в конторе, глядели ему вслед и говорили:

— Дал бог крылья хлопцу!

Образования Олекса Куртинец добивался самоучкой. Он много и упорно читал, учился ночами. Когда в фирме дознались, что зачинщиком забастовки бокорашей был не кто иной, как Олекса Куртинец, его уволили.

Друзья помогли устроиться Олексе солекопом в Солотвинских шахтах, а немного погодя — учеником наборщика в типографии, где печаталась коммунистическая газета.

Теперь его уже считали одним из сильнейших работников партии. Он был редактором коммунистической газеты, а горные округа избрали его своим депутатом в чехословацкий парламент.

Уважение Горули к Куртинцу передалось и мне. И сейчас от предстоящего знакомства с этим человеком я испытывал волнение.

Горуля и Куртинец остались у колыбы вдвоем.

— Мы вчера не знали, что и думать, — слышал я, как сказал Горуля. — Дожидались тебя, дожидались, как было условлено, а нема человека!

— Пришлось в Сваляве с поезда сойти и товарным добраться, — проговорил Куртинец. — Могли ведь по дороге другого агента ко мне прицепить.

— Трудно становится, — нахмурился Горуля.

— Да, нелегко, — согласился Куртинец, — и надо ожидать, что будет еще труднее. Может быть, попытаются добиться запрета партии.

— Руки коротки!

— Руки-то коротки, но пытаться будут! Ведь борьба за дружбу и союз Чехословакии с Советским Союзом, которую мы, коммунисты, возглавили, уж очень не по вкусу Гитлеру и его сторонникам в Чехословакии, а может быть, кое-кому и еще подальше, в Америке, в Англии... даже наверняка так! Они-то, эти заморские демократы, и Гитлера сделали Гитлером. Вот и вся механика!

— Вот, поди! — и Горуля выругался. — На бумаге мы легальные, а собираться надо тайно, на полонине.

Куртинец улыбнулся:

— Не беда! Мы ведь от своего не отступим. Надо только добиться, Горуля, чтобы в каждом селе слышалось наше слово правды. Об этом-то и следует договориться сегодня вечером с товарищами.

— Соберем, Олекса, — будто успокаивая Куртинца, произнес Горуля, — можешь не сомневаться, люди придут.

Наступило молчание. Был час раннего летнего утра, когда солнца еще не видно, но воздух уже наполнен мягким, спокойным светом. Прохладно, тихо. Ночная темень и туман, отступив вниз, опоясывают луговые вершины гор у самой кромки лесов, и от этого чудится, что полонина, с ее распадками и крутыми взгорьями, словно остров, плывет в бесконечном пространстве. И сердце сжимается от какого-то страха и восторга, до того дивен этот час на карпатских полонинах.

— Как вольно! — после долгого молчания проговорил Куртинец. — И красиво! Глядишь — и не оторвешься.

— Верховино, маты ты наша, — вздохнул Горуля. — Ей бы к такой красоте долю счастливую.

— Будет, — сказал Куртинец, — верю, что будет.

И негромко, но удивительно чисто затянул:

Верховино, свитку ты наш,  
Гей, як у тебе тут мило.  
Як игры вод плыве тут час,  
Свободно, шумно и весело.

Он пел в раздумье, опершись о палку. Мне казалось, что думы его были шире песни. И я сам не заметил того, как начал вторить мелодии:

Сверху на верх, а с бору в бор,  
С легкою в сердце думкою,  
В чересе крес<sup>1</sup>, в руках топор,  
Бо я е легинь<sup>2</sup> собою.

Песня закончилась так же легко, незаметно, как и возникла. Куртинец помолчал и вдруг обратился к Горуле:

— А что скажешь, Ильку, если я заберу жинку, хлопчиков своих, и приедем к тебе сюда, ну, скажем, дня на три, отдохнуть, побродить по горам, форель ловить в потоке? Примешь?

— Приму. Только ты ведь так отдыхать не приедешь, — серьезно сказал Горуля.

— Не приеду, — со вздохом согласился Куртинец.

Знакомство наше состоялось полчаса спустя. Куртинец и Горуля сидели на краю выдолбленного из цельного дерева лотка, по которому сбегала холодная вода из родника, и оживленно разговаривали. Мне не хотелось мешать их беседе, но Куртинец, заметив меня, поднялся и сделал несколько шагов навстречу. Без куртки и шляпы он казался выше ростом, и от всей его фигуры, от лица с раздвоенным ямочкой подбородком, а главное, от его живых, серых, с мерцающими белками глаз веяло силой, неутомимостью и добротой. Ни лицом, ни фигурой он не был похож на отца, а между тем много общего было у него с быстровским учителем, и я сказал об этом Куртинцу.

— Вы помните моего отца? — спросил он удивленно и обрадованно, как человек, напавший на дорогой ему след.

— Помню, — сказал я, — хотя видел его всего только несколько раз: на крыльце Быстровской школы, когда мать хотела отдать меня учиться, затем, — продолжал я, припоминая, — в первые дни войны и когда он вернулся из России с пленными.

— Это и я помню, но как-то смутно, — произнес Куртинец с печалью. — А в последний раз, пане Белинец?

Я не сразу решился ответить.

— Вероятно, у мельницы, да? — спросил Куртинец.

— У мельницы, — кивнул я.

Сели. Вода слабо звенела на дне лотка. Куртинец вынул платок и долго молчал, задумавшись. Затем, словно страхнув с себя тяжелые мысли, обернулся ко мне:

— Я много слышал о вас, пане Белинец, от Горули. О вас и о вашей работе.

— Я ее уже закончил, пане Куртинец, — произнес я с тем приятным чувством, с каким говорят люди о законченном деле.

— Значит, вас можно поздравить! — от души сказал Куртинец. — А мне бы очень хотелось познакомиться с тем, что вы написали. Можно?

— Да, разумеется, — ответил я.

Шелестят прочитанные странички... Куртинец аккуратно складывает их стопкой, но до конца еще далеко.

Подходит Горуля и садится поодаль, прислонившись спиной к подпорке навеса. Краешком глаза я наблюдаю за стариком. Лицо у него сосредоточенное и серьезное, но он поглядывает украдкой то на Куртинца, то на меня и,

<sup>1</sup> В чересе крес — за поясом ружье.

<sup>2</sup> Легинь — молодец, жених.

чтобы скоротать время, начинает сучить нитку, ободрав с жерди застрявшие на ней клочки овечьей шерсти.

Солнечные кружки на сене теряют свою прежнюю форму: они вытягиваются, а некоторые и вовсе исчезают; значит, время перевалило за полдень... Наконец последняя страница. Еще минута, две, три — и Куртинец медленно закрывает папку, поднимается, но молчит.

Я жду. Горуля перестает сучить нитку.

— Хорошо вы написали, пане Белинец, — вдруг произносит Куртинец, сощурив глаза. — Очень хорошо, а главное, правду о том, какая она есть, Верховина, и какой прекрасной она может стать. Вижу ее более прекрасной, чем написано у вас.

Он закурил. Дым облачками пополз из-под его усов.

— Но не возлагайте, пане Белинец, надежд, что все это обрадует управителей края. В лучшем случае они постараются замолчать вашу записку.

— А в худшем?

— Встретить ее в штыки, пустив в дело все, на что они только способны.

— Да у вас, пане Куртинец, предсказание мрачнее, чем у вуйка! — воскликнул я с усмешкой.

Горуля привстал. Глаза его потемнели.

— Не шуткуй, Иванку!

Я вспыхнул.

— Вуйку, мне все-таки не пятнадцать лет!

— А дурость и с седыми волосами ходит, — перебил меня Горуля. — Слушай, когда тебя люди уму-разуму учат!

Краска прихлынула к моему лицу, и мне стоило огромных усилий побороть себя и не ответить Горуле.

А Куртинец как будто и не заметил нашей короткой стычки.

— Посудите сами, пане Белинец, — продолжал он так, словно его никто не прерывал. — Могут ли иначе отнестись эти люди к вашему проекту, если вы полагаете на самую основу их существования? Ведь по вашей науке и с ее системой травополя, чередованием культур все плетни надо сломать и все межи стереть.

— Позвольте! — перебил я Куртинца. — В моей записке и слова нет о конструктивных мерах. Я говорю только о том, чего можно добиться, а как добиться, как осуществить, это должны решать те, кто примет мою записку как научную основу. Общими усилиями и будут найдены пути.

— Нет, пане Белинец, вы эти конструктивные меры подсказываете сами, вот здесь, в своей записке. Я могу их вам перечислить. Провести новую земельную реформу взамен старой, ничего, кроме кабалы, не давшей верховинцам, иными словами, ликвидировать фирму «Латорица» и все ее земли на основе правительственного долгосрочного кредита продать неимущим селянам. Создать товарищества по совместной обработке земли, организовать государственное опытное семеноводческое хозяйство. Все это, конечно, у вас не написано, но так вы думаете.

— Да, так, — подтвердил я.

— А ведь это и есть: сломать плетни и стереть межи! — воскликнул Куртинец. — Только при таких условиях и будет простор для вашей науки, пане Белинец... Но кто же пойдет на это? Наше правительство?... Не обманывайте себя и не принимайте за чистую монету пре-краснодушные речи на благотворительных вечерах в «По-

роне»: ничего, кроме лицемерия, в них нет, да и заготовлены они секретарями впрок — одна речь навсегда.

«Народ нуждается в вас, в ваших знаниях, а мы, со своей стороны, готовы помочь вашим благим начинаниям...» — вспомнились мне слова губернатора. Он с таким уважением говорил о науке! Неужели и эта его речь была заготовлена впрок? Неправда! Политика ослепляет людей, вот и сейчас она слепит глаза и Горуле и Куртинецу.

Куртинец сделал несколько шагов и, остановившись у края навеса, отшвырнул далеко в сторону недокуренную сигарету. Что-то бурлило в нем, и нужно было время, чтобы он овладел собой. А когда Куртинец снова обратился ко мне, голос его уже звучал ровнее и мягче:

— Я понимаю, пане Белинец, вам нелегко. И в гимназии и в институте немало потрудились, чтобы скрыть от вас правду и затуманить ваше сознание речами о наших прославленных демократических свободах. Правду вообще не всегда легко слушать, но знать ее надо.

— В чем же эта правда? — резко спросил я и встал.

— В том, что вам уже говорили Горуля и я, — ответил Куртинец. — И еще в том, что исполнятся ваши стремления лишь тогда, когда и в этих горах будет так, как там, — он взглянул на восток, — в Советском Союзе. За это будущее мы боремся, пане Белинец. За него и вы должны бороться.

Он нагнулся, поднял папку с рукописью и взглянул на меня:

— Я предлагаю вам напечатать вашу записку... Будет, конечно, трудно, газета наша запрещена, типография закрыта, но мы найдем способ издать записку... Ведь до сих пор Верховину оплакивают. Плачут над бесплодной землей, над ощишком<sup>1</sup>, над недородом. Но никто еще не сказал верховинцу, какие возможности таит в себе земля и какой кормилицей она может стать, а ведь это очень важно, чтобы люди заглянули вперед и увидели будущее. Пусть человек, прочитав вашу книжечку, почувствует, что не земля виновата, не земля бесплодна, а бесплоден и тесен строй, в котором он живет, и что такой строй ничего, кроме зла, уже не в силах дать людям, в какие бы демократические кожухи он ни рядился... Ну, а когда человеку становится тесна одежда, он ведь не укорачивает себя, а подумывает, как бы сменить одежду...

— Благодарю вас, пане Куртинец, — сказал я, — но принять ваше предложение не могу. Я писал свою записку не для того, чтобы увидеть ее только изданной в брошюре, и не для того, чтобы служить ею политике какой бы то ни было партии, даже такой, пане Куртинец, как ваша.

— Ты кому это так говоришь?! — закричал на меня Горуля. — Кому так говоришь?!

— Подождите, Горуля, — улыбнулся Куртинец, — ему ведь в самом деле не пятнадцать лет. — И, обернувшись ко мне, уже без улыбки спросил: — Значит, себя вы ставите вне политики?

— Да.

— Напрасно. Аполитичность, пане Белинец, — тоже политика, и к тому же очень дурная.

\* \* \*

Внизу, под деревьями, на сельской улице, ждет меня на своей повозке Семен Рушак, чтобы ехать в Воловец к ужгородскому поезду.

<sup>1</sup> О щ и п о к — овсяной хлеб.

В хате напряженная тишина. Я заканчиваю укладку чемодана. Гафия стоит рядом, опечаленная и расстроенная моим отъездом и размолвкой между мной и Горулей.

На дальнем конце лавки, у самого окна, повернувшись ко мне спиной, дымит трубкой Горуля. Он пришел с полонины следом за мной, прикрикнул за что-то на Гафию и, опустившись на лавку у окна, сидит там молча вот уже более получаса.

Все уложено. Я закрываю крышку чемодана... Щелкают замки, и от этого звука на сердце становится еще тоскливее.

Горуля поворачивает голову. Глаз его почти не видно, — они скрыты под насупленными бровями.

— Решил все-таки? — спрашивает он.

— Да, решил, — твердо отвечаю я, с трудом выдерживая устремленный на меня взгляд.

— Так, так, — говорит Горуля, — тебе дорогу показывают, а ты к ней спиной?..

— У каждого своя дорога, вуйку.

— Ну и езжай! — вспыхивает Горуля и быстро, чуть ли не рывком поднимается с лавки.

— Ильку! Да опомнись ты! — всплескивает руками Гафия. — У других, як хлопцы в жизнь уходят, им доброе слово вслед говорят. А ты что? Хочешь, чтобы хлопчик дорогу до нас забыл?

— Не забудет, — хрипло говорит Горуля. — Придет!.. Если совесть есть, так придет...

Одна Гафия провожает меня до подводы. Я усаживаюсь в повозку. Маленькая, но сильная лошадка гуцульской породы, понукаемая Семеном, трогается с места. Стучат на камнях колеса. Гафия, держась за борт повозки, идет со мною рядом и шепчет:

— Дай тебе мать боже счастья, Иванку.

На выезде из села Гафия останавливается. Семен вскакивает в повозку, и лошадь, почуввав вожжи, убыстряет шаг.

Я долго гляжу назад, пока поворот дороги не скрывает от меня Гафию.

Отъехав немного от Студеницы, я вырываю из блокнота листок и, написав несколько строчек, протягиваю листок Руцаку.

— Тут адрес, Семен. Ты по нему напиши мне, как у них, у Горулей... Ну, словом, напиши...

— Добре, — соглашается Семен и, сложив листок, бережно прячет его в кармашек серяка.

## 17

Ужгород встретил меня тишиной раннего летнего утра. Город только просыпался. Хозяйки в домах, подняв полотняные шторы, распахивали настежь окна и, как обычно, укладывали проветривать на подоконниках вороха подушек, одеял и перин. По длинной Мукачевской улице круторогие флегматичные волю медленно тянули на базар первые возы. Тут и там над витринами и дверями магазинов, гремя, поднимались металлические жалюзи. Парикмахеры вывешивали на кронштейнах свои цеховые знаки — медные мыльницы.

На углах располагались нищие. Из ресторанов и ресторанчиков после бессонной ночи плелись к себе на Радванку музыканты-цыгане с испитыми, желтыми лицами.

У шлагбаума городской заставы полицейский в огром-

ном картузе строго следил, чтобы никто из селян не входил в город босиком. Этого постановления добился обувной король Чехословацкой республики Батя. «В моей стране не может быть босых!» — провозгласил он, и огромные щиты его реклам красовались над всеми шлагбаумами: «Дешево! Элегантно! Прочно!»

Свернув с Мукачевской, я очутился у моста через Уж. Быстрая и мутная во время дождей, река была сейчас тиха и прозрачна. Подстриженные деревья бульвара и дома набережной отражались в водяной глади. Рыболовы в закатанных выше колен штанах сидели посреди реки на высоких сколоченных из досок переносных стульях-вышках и терпеливо ждали удачи.

Было еще рано, но на мосту и вдоль берега, облокотясь о перила, стояли десятки мужчин в поношенных, но аккуратно выгуженных костюмах и угрюмо наблюдали за рыбной ловлей. Начинался день, но этим людям некуда было идти и нечем было заняться, они томились от вынужденного безделья и бесплодных надежд на работу.

Остановился я в дешевом номере гостиницы и прежде всего разыскал своего гимназического товарища Василия Чонку, который жил теперь в Ужгороде. Чонка мечтал учиться, но конкуренция разорила его отца — владельца маленькой мастерской художественной мебели в Хусте, — и старый Чонка решил снова воскресить свою мастерскую, или, как он любил выражаться, «фирму», за счет сына.

По окончании гимназии отец увез Василия в Ужгород и тут, с помощью родственников, женил его на некрасивой истеричной девице, старшей дочери бывшего графского винодела Лембея.

Несколько тысяч крон приданого поправили дела хустской мебельной «фирмы», но ненадолго, а Василь Чонка стал служить в банке, пристрастился к вину. Когда его изредка навещали старые друзья, он подмигивал им и говорил шепотом, чтобы не услышали домашние:

— Продали...

Жили Лембеи в нескладном старом доме. От всего, на чем бы здесь ни остановился глаз, веяло убогой чопорностью. В прихожей и столовой стены были увешаны оленьими рогами и пожелтевшими олеографиями с видами австрийских замков. Комнаты были заставлены тяжелой, источенной жучком мебелью, и казалось, что каждый оставленный здесь много лет назад предмет никогда не передвигался и не менял своего однажды занятого места.

Сам Лембей, тучный, высокий старик, слывший некогда в притиссянской долине одним из лучших мастеров винодела, не служил в графских подвалах с тех пор, как эти подвалы были проданы акционерной компании.

Те сбережения, которые ему удалось сделать за сорок лет службы у графа, быстро растаяли. Теперь услугами винодела Лембея пользовались иногда лишь владельцы мелких винниц, и без жалованья зятя ему бы не свести концы с концами.

Но Лембей считал себя главой дома и тянулся изо всех сил, чтобы держать в семье и доме старый, заведенный еще при императоре Франце уклад. Он жил только прошлым. Это был слуга, брошенный своим хозяином, но не понимавший, что его бросили.

Встреча наша с Чонкой была радостной, шумной. Василь потащил меня знакомить с женой, «старым», как он называл тестя, сестрой жены и детьми, которых у него было уже двое.



Но как только мы очутились в столовой, где сидела за утренним кофе вся семья, Чонка как-то сжался и притих, а на меня пахло скукой и притворством.

Притворной была любезность пригласившей меня к столу жены Чонки, Юлии, притворным было величие старика, оценивающий взгляд которого я на себе ловил; даже дети держали себя притворно вежливо.

Только со временем я понял, что за всем этим в семье Лембея скрывались раздражение друг против друга, мелкая зависть, грошовой расчёты, пересуды, то есть то, что нужно было скрывать, но без чего не мыслили здесь жизни.

Единственным человеком, кто держал себя просто и ёго, как мне казалось, тяготило лицемерие других, была младшая дочь Лембея, Ружана. Она одна держалась естественно и мило. Красивой я бы ее не назвал, но что-то привлекательное, живое было в ее карих глазах, округлом, с родинками на щеках лице, слегка небрежно взбитых каштановых волосах и мягком голосе.

Не в пример старшей сестре, в Ружане не было ничего манерного и заученного, она, точно наперекор царившим у Лембеев условностям, говорила то, что думала, и делала то, что хотела. Но в то же время я очень скоро почувствовал, что где-то в глубине ее существа не все ладно, словно там бродит скованная, неудовлетворенная и, может быть, неосознанная еще самой Ружаной сила.

Ружана принялась расспрашивать меня о наших с Чонкой гимназических годах. Я отвечал охотно, припоминала забавные истории. Чонка тоже оживился, увлекся воспоминаниями. Ружана громко смеялась, не обращая внимания на косые взгляды сестры и отца.

В середине завтрака распахнулась дверь и в комнату вошел поджарый, высокий священник в шелковой сутане.

— Отче духовный! — проговорил Лембей и, тяжело поднявшись со стула, пошел пану превелебному навстречу.

Все поднялись. Гость скороговоркой прочитал молитву и, мелко перекрестившись, ответил на приветствие.

Его стали усаживать за стол. Юлия и Ружана наливали ему кофе, пододвигали молоко, сахар и почтительно спрашивали:

— Что вам к кофе, отче духовный?

Пока женщины суетились за столом, я успел разглядеть духовного отца. Бритое маленькое личико его состояло из одних морщинок, приходивших в движение при каждом произнесенном им слове, будто ярь по воде. Сидевшие глубоко в орбитах глаза глядели тускло, безжизненно. Но все же отец духовный был не так стар, как это могло показаться на первый взгляд.

— Я, кажется, прервал вашу беседу? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Мирская суета, — поспешно ответил старый Лембей.

— Мирская суета тоже от всевышнего послана человеку в испытание, — вздохнул пан превелебный.

— Они вспоминают гимназические годы, отче духовный, — сказала Ружана и покраснела.

Пан превелебный, пригубив кофе, взглянул на меня и на Чонку многоопытным взглядом.

— Молодость греховна по неведению, — произнес он, и все морщинки на его лице закопошились. — Она стремится познать непознаваемое, разрушить неразрушимое, часто ищет истину не в смиренности и вере, а в Прометеевой гордыне.

— Истинно, истинно, — поддакнул Лембей.

— Но смятение души, — продолжал пан превелебный, — есть не что иное, как поиски успокоения, подобно тому, как человек, раньше чем погрузиться в сон, долго ищет на ложе своем удобное положение телу. С годами по воле всевышнего исчезает и дерзновенная гордыня молодости.

— А если она не исчезнет? — спросил я и тут же пожалел, что спросил.

Старый Лембей насутился и побагровел, Чонка и Ружана взглянули на меня испуганно, словно в моем вопросе заключалась неслыханная дерзость, и все они с трепетом ждали, что скажет пан превелебный.

Старик отодвинул от себя чашку.

— Тогда бог гневется на пастыря, не сумевшего убедить овцу из его стада. Пастырское око да не знает сна! — торжественно провозгласил он, подняв глаза к потолку.

Ружана снова взглянула на меня, но теперь взгляд ее выражал не испуг, а призыв оценить кротость духовного отца, так покорно принимавшего на свои пастырские плечи гнев божий за заблудшую овцу.

Но мне причудились в словах старика не кротость, а раздражение и свист хворостины, которую вложил в его пастырскую руку всевышний.

Я ожидал, что превелебный продолжит разговор, но тот обернулся к старику Лембею и заговорил с ним о делах храма.

А мне было и невдомек, что этот духовный отец был тем самым человеком, который незримо, через профессора Луканича, пытался руководить нами еще в наши гимназические годы.

После завтрака Чонка заторопился на службу. И как мне ни хотелось побыть еще немного в обществе Ружаны, я все же простился со всеми и пошел проводить приятеля до банка.

Когда мы очутились на улице, Чонка спросил:

— Как тебе понравился отец Новак?

Я замылся на мгновение, но тотчас же решил быть с Чонкой откровенным.

— Он не так смиренен, как это кажется.

— Вот и я так думаю, — подхватил Чонка, оглядываясь. — Знаешь, бывают такие, со вторым дном.

— Вижу, — улынулся я, — ты его побаиваешься?

Чонка вздохнул.

— Когда он приходит к нам, я чувствую себя уже на адской скорородке.

— А зачем он к вам ходит?

— Мы его прихожане, а он взял себе в толк раз в неделю навещать всех своих прихожан; как экзекутор за податями, так и он за душами. — Чонка снизил голос до шепота. — Мне кажется, он знает всю подноготную каждого своего прихожанина... И мои к нему бегают по любому поводу.

— Кто твой?

— Юлия, Ружана. Первый советчик и первый утешитель! Без него ни шагу.

— Ружана? — переспросил я, смутившись от шевельнувшегося во мне ревнивого и в то же время досадного чувства. У меня еще не сложилось окончательного мнения о пане превелебном, но то, что Ружана оказалась в числе ревностных его прихожанок наряду с Юлией, мне было почему-то неприятно.

— Без него ни шагу, — повторил Чонка.

— Тебе это не нравится?

— Что тут может нравиться? Скажу честно — боюсь попов. Впрочем, от такой жизни, как в нашем доме, пойдешь и к попу, и к черту, и даже в корчму, что я и делаю, — он рассмеялся, но смех у него звучал грустно. — Ну, да бог с ними, расскажи лучше о себе!

По дороге я поделился с Чонкой своими планами на будущее. Он выслушал меня довольно безразлично и только сказал, что записку надо переплести и лично вручить ее губернатору. Он даже обещал посодействовать моему свиданию с губернатором через знакомого секретаря.

— Вечером жду тебя, — произнес Чонка на прощание.

Вечером я снова был у него с зеленой папкой, в которую была вшита моя рукопись.

— Ого! — воскликнул Чонка, перелистав записку. — Семьдесят страниц! Многовато... Ну, не беда. Все устроено, я говорил о тебе с паном Бадовским. Пан Бадовский обещал передать записку самому губернатору. Он и скажет тебе, когда ты будешь принят.

Я обрадовался такому сообщению и был благодарен Чонке за хлопоты. Я все ждал, что он снова пригласит меня в столовую, откуда доносились женские голоса, что я снова увижу Ружану, но Чонка потащил меня в отдаленный флигель и торопливо, словно боясь, что кто-то может сейчас войти и помешать ему, стал угощать вином. Вино было старое, приятное на вкус. Я тянул его медленно, а Чонка опорожнял стакан за стаканом, и глаза его постепенно становились влажными, ословелыми и бессмысленными, как у новорожденного. Вдруг он подмигнул мне и, скосив глаза на дверь, прошептал:

— Продали.

И я понял, что шлет он уже не столько с горя, сколько по привычке.

Губернатор принял меня через неделю. Все это время я был полон одним только ожиданием. Я не мог ни спать, ни работать, а когда мне приходилось бывать у Чонки, я старался засиживаться там подольше, чтобы как-нибудь убить время.

Наконец наступил четверг, день назначенного приема. И вот, преисполненный надежд, я стою перед старинного типа зданием. Украшенное одним только балконом с флажками, под покатою черепичной крышей, оно высилось на горе в центре города, и два усыпанных гравием въезда вели к его арочным воротам.

Поднявшись на второй этаж, я вошел в приемную. Секретарь, дважды переспросив мою фамилию, пошел докладывать. Через несколько минут ожидания он вынырнул из-за белой двери и, оставив ее полуоткрытой, произнес:

— Пан инженер Белинец.

Всего несколько шагов, и я очутился в высоком, светлом кабинете. Губернатор сидел не за письменным столом, а за круглым столиком у окна и перелистывал бумаги. Я успел заметить, что зеленая папка с моей запиской лежала перед ним.

Я поклонился. Губернатор ответил мне кивком головы и жестом пригласил сесть. Опускаясь на стул, я не сводил глаз с лица этого человека, и, как я ни пытался уловить на нем сочувствие или неодобрение, оно ровно ничего не выражало, было бесстрастно и замкнуто на все замки.

«Он не узнаёт меня», — мелькнула мысль, и я решил напомнить ему Брно.

— Да, да, совершенно верно, — заживал губернатор. — Следовательно, вы закончили курс?

Он взял зеленую папку, раскрыл ее на первой попавшейся странице и будто углубился в чтение. Но по уставившемуся в одну точку взгляду я понял, что он не читает, а обдумывает, что мне сказать.

— Да-а-а-а, — протянул он, наконец, и захлопнул папку. — Всеж нас печалит отсталость Верховины, и мы делаем все возможное, вот именно все возможное... Правительство республики не ограничивает право эмиграции, как это было во время австро-венгерского владычества. Соединенные Штаты, Канада, да и другие страны держат открытыми свои двери для наших соотечественников. И, на мой взгляд, эмиграция — это единственное и радикальное решение проблемы Верховины. Вы, пане инженер, — продолжал губернатор, откинувшись в кресле и сцепив на груди волосатые пальцы, — образованный человек и согласитесь со мной, что наши верховинцы удивительно консервативны и упрямы. Они уезжают в другие страны и, проработав там несколько лет, не натурализуются, а в большинстве своем стремятся вернуться назад. Я знавал и таких, которые приезжали в Карпаты только для того, чтобы после смерти быть похороненными не в штате Небраска или Калифорния, а где-нибудь в Росток или Пасеке. В наш век это нелепо и дико.

— Почему же? — возразил я. — Это ведь так естественно — родина!

— Родина? — удивился губернатор. — Просто упрямство и косность!

Я заставил себя промолчать.

— Ну, а что касается, пане инженер, вашей записки, — после паузы произнес губернатор, — мне кажется, вам следовало обращаться не ко мне, а к каждому сельскому хозяину в отдельности. Земля принадлежит им, а не государству. Они вольны делать на своей земле все, что им заблагорассудится. Мы же не вправе входить в их святая святых.

— Пане губернатор! — воскликнул я. — Но ведь речь идет о благополучии не одного человека, а тысяч людей!

— Вот и прекрасно! Привлеките к вашему проекту внимание частной инициативы, заинтересованных земледельцев, обратитесь к нашим аграриям, например в краевую земледельческую комору, к пану депутату Лещецкому, они знают нужды селянства... Вот именно, к пану Лещецкому, к пану Лещецкому...

Последние слова он произнес скороговоркой, протягивая мне записку, и я понял, что я для него не более чем докучный посетитель, от присутствия которого он рад скорее избавиться.

Что мне еще оставалось делать? Я взял папку с запиской, поднялся, машинально поклонился и, ничего не видя перед собой, вышел из кабинета.

Это был первый удар. Он ошеломил меня и спутал все мысли.

На пригорке, под стенами губернаторской резиденции, был разбит сквер с фонтаном. Выбрав уединенную скамейку, я сел, чтобы прийти в себя и обдумать создавшееся положение. На какой-то миг возникли передо мной Куртин и Горуля такими, какими я их видел в тот памятный полдень на полонине, и что-то беспокойно шевельнулось в душе. Но тотчас же я стал успокаивать себя тем, что я

сущности ничего особенного не произошло. Просто-напросто я обратился не по адресу. «Не может быть, — говорил я себе, — чтобы людям, стоящим во главе нашего края, была безразлична судьба Верховины». И по мере того, как я твердил это, у меня все больше разгоралось желание во что бы то ни стало добиться своего. Я решил, не откладывая, завтра же идти в земледельческую комору, к Лещецкому.

## 18

Был обеденный час, и Лещецкого я не застал в коморе. Старичок секретарь сказал мне, что пан депутат будет позже, но, если мое дело к нему не терпит отлагательств, я могу пана застать сейчас в ресторанчике, где он обычно обедает.

Записав адрес, я отправился разыскивать ресторанчик.

Он помещался на левом берегу Ужа, в торговом ряду. Это было полутемное помещение с несколькими столиками. За стойкой восседала пышная хозяйка с красивым и нагловатым лицом.

— Вам пана Лещецкого? — спросила женщина и, спустившись с высокого стула, провела меня через дверь за стойкой в небольшую, выходящую окном во двор комнату.

Сумрачно здесь было так же, как и в первой, но на стенах висело несколько гравюр, два столика были покрыты накрахмаленными салфетками, и под окном стоял плюшевый диванчик. Видно было, что этот кабинет предназначался для избранных посетителей.

Когда я вошел, белесый человек, с зачесанными на пробор жидкими светлыми волосами и оплывшим лицом, склонясь над тарелкой, ел, вернее пожирал, жареную курицу. Он рвал ее зубами с такой торопливой жадностью, точно голодал до этого по меньшей мере несколько дней.

— А, Мария! — флиртованно подмигнул он хозяйке (впоследствии я узнал, что она была его любовницей), но, заметив меня, положил обратно на тарелку объеденную куриную ножку и приосанился.

— Ко мне? — важно спросил он.

— Если вы пан депутат Лещецкий...

— Да, Лещецкий.

Я представился и сел.

Несколько секунд Лещецкий изучал меня и мою зеленую папку, которую я не выпускал из рук, и мне показалось, что он уже предупрежден о том, что я могу появиться у него.

Охваченный беспокойством, я нервно спросил:

— С вами говорили обо мне, пане депутат?

Глаза его метнулись и застыли.

— Нет, никто, — торопливо произнес он. — Никто не говорил... Прощу.

Я изложил причину моего посещения.

— Так, так, — неопределенно промямлил Лещецкий, выслушав мои объяснения.

Он взял папку и, взвесив ее на ладони, сказал:

— Читать я этого не буду, расскажите-ка сами, что тут написано.

Предложение Лещецкого привело меня в замешательство, но делать было нечего. Сначала я рассказывал вяло, пригнужденно, но затем так увлекся, что Лещецкий глядел уже на меня с любопытством. Только когда речь зашла о селянских долгах, о фирме «Латорице», по лицу его проползла тень недовольства.

Когда я кончил, пан депутат пожевал губами и, взяв вилку, начал рисовать тупым ее концом узоры на салфетке.

— Служите где, пане инженер? — спросил он, не поднимая глаз.

— Нет, еще не служу. Я только кончил курс в Брно.

— Значит, службу надо подыскать для вас добрую... — Он отбросил вилку. — Вот и дожили, слава богу, что свои люди пошли в инженеры, в депутаты.

— Благодарю, пане Лещецкий, — сказал я. — Речь в данном случае идет не о моей службе...

— Ну да, — спохватился Лещецкий; он взялся за вилку и снова принялся чертить узоры на скатерти. — Верховина!.. Хорошо, что у вас о ней сердце болит. Я ведь и сам на той земле отцовский клаттик пахал, пастухом был, а теперь, как народ захотел, пришлось стать парламентским депутатом... И прямо скажу, пане инженер, Верховина — то наша всегдашняя забота.

— Мне кажется, пан депутат, что наступило время не только заботиться, а действовать.

— Так, как вы здесь пишете? — быстро спросил Лещецкий и постучал вилкой по зеленой папке записки.

— Да.

— Нет, пане инженер, — усмехнулся Лещецкий. — Вы тут всем крепким хозяевам и «Латорице» ворота грязью мажете, а на тех хозяевах все только и держится. Не будь их, Верховина бы, как то кажут, ноги протянула. Они работу людям дают.

— А кабальные долги, пустоши — разве все это мною выдуманно?

— Не знаю, что вы выдумали, — уклонился от прямого ответа Лещецкий. — А если взять да и послушать вас, пане инженер, и сделать все так, как вы говорите, так ваша наука ведь ни в один двор не влезет. Я селянина знаю лучше вашего. Я знаю: ему горюшку золота насыпь, а он свою межу ни за что не сотрет. Будь ему по карману, он вместо нее каменную стенку поставит, да по выше.

— Но ведь это от страха, от страха и боязни потерять то, что он имеет.

— Нет, от самостоятельности, пане инженер: здесь мое! Тут я хозяин! «Мое» — раньше бога народилось.

— Так, значит, по-вашему, селянину и наука не нужна?

— Этого я не говорю, — уклончиво произнес мой собеседник. — Наука ему нужна, да такая, чтобы ко двору пришлась.

Я понимал, что Лещецкому надоело спорить со мной, взгляд его сделался сонным, лицо приняло сытое выражение. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы понять, что мое дело и здесь проиграно.

— Что ж вы мне посоветуете, пане Лещецкий? — спросил я упавшим голосом.

— Устраивайтесь на службу, пане Белинец, — сказал он миролюбиво, — могу вас порекомендовать управляющим в одно имение на Пряшевщине. Место хорошее. А это, — он бросил взгляд на папку, и в голосе его слышалось предостережение, — лучше никому и не показывайте, да и сами забудьте, мой вам добрый совет...

Может быть, мне следовало благодарить Лещецкого за эти его слова, потому что вместо отчаяния они породили в душе такую ярость, такое омерзение и ненависть, что

в дальнейшем, когда мне пришлось терпеть одно поражение за другим, эти чувства, овладевшие мною, не давали опустить руки.

Вечером я пришел к Чонке.

— Лещецкий! — промычал он. — От Лещецкого ничего другого и ожидать не следовало. Ему просто не выгодна твоя затея, Иване. Еще три-четыре года, и он будет одним из самых богатых людей в наших краях. Ты шутишь — Лещецкий! Ого!

И от Чонки я впервые узнал подробности об этом человеке. Лещецкий был выходцем из зажиточной крестьянской семьи. Ему удалось получить кое-какое образование. Тщеславный и хитрый провинциальный краснобай, он решил попытаться счастья на политической арене. Несколько выступлений во время первомайских демонстраций, участие в организации крестьянских съездов в Мукачеве создали ему репутацию «левого» и некоторую известность в селах Верховины. Он разъезжал по селам, к его слову прислушивались, и его популярность быстро росла. Аграрной партии нужен был такой человек, как Лещецкий, которому бы доверяли селяне, и они купили его за довольно кругленькую сумму. Лещецкий стал членом правительственной аграрной партии, и «аграры» провели его от своей партии депутатом в чехословацкий парламент. Лещецкий появлялся в парламенте в специально сшитом для этой цели крестьянском серяке, домотканной вышиванке и зеленой шляпе с пучком щетины, заткнутым за ленточку. Портреты этого «посла русинских крестьян» мелькали на страницах не только чехословацких, но и заокеанских журналов. Вскоре Лещецкий стал главой земледельческой коморы, и тут-то развернулись его недюжинные способности авантюриста. Пользуясь своим положением и обширным знакомством в селам, он занялся своеобразной коммерцией. Зная, что многим крестьянам не под силу купить на откорм поросенка или телку, он входил с этими хозяевами в пай, давал им деньги на покупку молодняка, а на обязанности крестьянина оставалось кормить скот, растить его до определенного срока, а затем, продав, делить выручку пополам. Сама по себе такая коммерция, не требуя от пана Лещецкого больших хлопот, приносила ему немалые доходы. Но, как правило, селянину становилось невозможно кормить скотину до срока, тогда он приезжал в Ужгород и шел к пану Лещецкому, не в комору, конечно, а в ресторанчик, и в комнатке за стойкой происходил такой разговор.

— Пана Лещецкий, — просил селянин, переминаясь с ноги на ногу, — мне детей малых уже кормить нечем, а кабанчик большой стал, дуже большой, может, нам его продать?

— Как же продать? — пожимал плечами Лещецкий. — Я не могу, мне это невыгодно.

— Як же невыгодно? — мялся селянин. — Отдал и вы за него сто крон и забот больше не знали, а продадим, выйдет вам шестьсот.

— Ни, куме, — возражал Лещецкий, — надо еще покормить мало. Ведь и вам с того будет больше грошей.

— Так ведь детям есть нечего, пане, — твердил селянин.

— Надо было раньше думать, когда дело решали.

— Раньше, — виновато улыбался проситель, — я одно, а вон бог — другое.

— Все равно не могу, — говорил Лещецкий, — кормите, кормите до срока.

— Так, пане, — уже молил селянин, — дуже прошу вас... Я меньшую долю возьму...

— Все равно мне в убыток, — не сдавался Лещецкий.

И когда после долгого торга селянин соглашался на четверть пая, пан Михайло Лещецкий вздыхал.

— Так уж и быть, я не зверь, а человек, я разумею, что вам тяжело и бедным диточкам тяжело. Нехай мое пропадает!.. Ступайте, куме, к пани Марии и стоваривайтесь, как продавать будем.

Пани Мария, правая рука в коммерческих делах Лещецкого, завершала уже все остальное.

Поговаривали, что у пана депутата кормились таким образом по селам несколько тысяч волов и свиней.

Он был скуп и жаден до необычайности. Он не гнушался и малыми грошовыми приработками. Как депутат чехословацкого парламента Лещецкий пользовался правом бесплатного проезда по железным дорогам республики. В дни парламентских сессий государство выплачивало каждому депутату ежедневно по двадцати пяти крон гостиничных, и Лещецкий умудрялся прибавлять их к своим сбережениям. Делалось это так: вечером, после заседания парламента, Лещецкий садился в поезд, отходящий из Праги к границе, занимая мягкое купе, и ложился спать.

Проводники будили его во втором часу ночи на подходе к пограничной станции, где обычно стоял уже встречный поезд, идущий в столицу. Лещецкий пересаживался и снова укладывался спать. Всю ночь он проводил в поезде, а утром, к началу заседаний, прибывал в Прагу.

— Это, я тебе скажу, фрукт! — щелкал языком Чонка. — Шутишь, Лещецкий!

— На нем свет клином не сошелся, а я не собираюсь сдаваться.

— Конечно, не сдавайся! — подхватил Чонка. — Нельзя сдаваться, надо показать и этому Лещецкому и всем им... Утереть ему нос!

Как и все слабохарактерные люди, Чонка искренне радовался проявлению воли в другом человеке, словно в этом заключалась частица его собственной решительности.

— Но куда же теперь?

— В газеты, к сенаторам, к пану президенту... Надо действовать!

## 19

С этого дня и начались мои хождения по мукам. Я готов был стучаться в каждую дверь, писал депутатам парламента, сенаторам, в министерство и ждал, ждал ответа с надеждой и отчаянием.

Ответы приходили на мое имя в адрес Чонки.

— Тебе письмо! — кричал он, едва я появлялся в калитке их дома, и размахивал конвертом с таким победным видом, словно в этом письме заключалось то, чего я ждал.

С сердцем, бьющимся от волнения, я надрывал конверт.

— Осторожней, — говорил Чонка, — ты порвешь свое письмо! Дай мне, у тебя руки дрожат...

Но ответы были одни и те же — вежливо-официальные. Одни сообщали, что мое дело не в их компетенции, другие отдавали должное безусловной ценности моей записки, советовали обратиться в краевую земледельческую комору (опять к пану Лещецкому!), третьи отвечали,

что мои предложения противоречат здравому смыслу и всем законам природы.

Теперь уже все чаще и чаще, когда я оставался один, мысли мои невольно возвращались к Горуле. Удивительно, как живо, до мельчайших подробностей, вдруг воскресало в памяти все, что было говорено им и Куртинцом. Я боролся с этими воспоминаниями как мог, но был похож на человека, стремящегося погасить пламя: он дует на него изо всех сил, а пламя от этого не только не гаснет, но разгорается еще сильнее.

Мучимый бессонницей, досадой, я валялся на кровать и, стиснув зубы, в который раз уже мысленно повторял про себя горькие истины, высказанные мне Куртинцом и Горулей, но упрямо, из самолюбия и стыда, не хотел признавать их до конца.

Похудевший, озлобленный, я снова и снова искал людей, которые, казалось, могли бы сочувствовать моему делу, и все еще не терял надежды. Конечно, теперь эта надежда уже утратила свои радужные цвета, она превратилась в ожидание счастливого случая, не более, — плохая надежда, но я за нее цеплялся.

Деньги мои подходили к концу. Нужно было уезжать из гостиницы и думать о какой-либо работе, потому что службу по специальности я мог получить только через ту же земледельческую комору, но самая мысль, что придется снова обратиться к пану Лещецкому, была для меня невозможна.

Чонка предложил мне переехать из гостиницы к нему во флигель. Другого выхода не было, и я согласился. Вечером, забрав свой чемодан, я направился к дому Лембеев. День был воскресный, и Чонка предупредил меня, что все уйдут в церковь. Он дал мне запасной ключ от калитки и флигеля.

Вечер стоял не по-летнему холодный, дождливый. С реки дул сильный ветер. Улицы казались безлюдными, а на сердце было скверно и одиноко.

Когда я вошел во двор лембеевского дома, меня несколько удивило, что в предназначенной мне комнате горел свет и на опущенной шторе мелькала чья-то тень. Я открыл дверь и увидел Ружану. Она была так занята перестановкой с места на место небольшого столика, что даже не заметила моего прихода.

Я постучал. Ружана испуганно обернулась и, увидев меня, смутилась.

— Очень хорошо, что вы пришли, пане Белинец, — произнесла она как можно непринужденнее, — я измучилась с этим столиком, не знаю, куда его поставить.

— Бог с ним, — сказал я, улыбаясь, — пусть где-нибудь стоит.

— Как это где-нибудь? — возразила она. — Он должен стоять там, где это будет лучше. Конечно, здесь ему не место... Разве у окна... У вас нет желанья мне помочь?

— Я буду очень рад, — с готовностью отозвался я.

— Снимайте плащ, шляпу, — приказала Ружана. — Вешалка здесь, за дверью.

Но, не дожидаясь, пока я сниму плащ и шляпу, она взяла лежащую на диване занавеску и начала прилаживать ее к окну. Все она делала быстро, с привычной ловкостью своими маленькими, сильными руками, и я не успевал помогать ей. На моих глазах с каждой минутой комната обретала тот особо уютный вид, когда на ее,

пусть скромном, убранстве видна печать женской заботы.

— Ну вот, — произнесла Ружана, оглядывая комнату, — кажется, все.

Меня тронули ее хлопоты, и то уныние, с каким я шел сюда, кутаясь в плащ от ветра и сырости, как бы затихло на время, уступив место неведомому мне до сих пор чувству покоя.

— Отдыхайте, пане Белинец, — сказала Ружана. — Доброй ночи.

И не успев я ничего сказать, как она, ласково кивнув мне на прощанье, вышла из комнаты.

Я поглядел ей вслед, прислушался к ее быстрым шагам — она пробежала от флигелька к дому — и подумал, как грустно и пусто стало в этой чужой комнате после ухода Ружаны.

Походив из угла в угол, я погасил свет и лег на диван. Но как только я очутился в темноте, мною снова овладели волнения и тревоги, которыми я жил последнее время.

«Неужели среди всех сенаторов и общественных деятелей, — задавал я себе вопрос, — так и не найдется ни одного, по-настоящему заинтересованного судьбой наших крестьян? Неужели они все так равнодушны к нищете Верховины? И эти люди еще клянутся именем народа, уверяют, что служат народу!»

Горькая злоба душила меня. Я встал и повернул выключатель, но свет не принес мне успокоения. Долго сидел я у стола, погруженный в мрачные мысли. И тут у меня возникло решение написать статью, излить в ней все, что накипело на сердце. Может быть, хоть эта статья разбудит совесть в людях, заставит их призадуматься, создаст общественное мнение в пользу моей записки.

Ночь прошла без сна. Я сидел и писал. Я не шадил никого: ни пана Лещецкого, ни тех, кто считал мои доводы противоречащими законам природы. Война так война!

Заключительные фразы статьи я писал уже утром. За окном лил дождь, и макушки деревьев в саду шумели и гнулись под порывами восточного ветра.

## 20

Перед службой Чонка зашел посмотреть, как я устроился. Невзирая на ранний час, он был уже слегка навеселе.

— Никогда не думал, что этот курятник может так прилично выглядеть! — воскликнул он еще с порога, окинув взглядом комнату. — И все это Ружана? Уж не влюбилась ли она в тебя?

Я покраснел и нахмурился.

— Не говори глупостей!

— Ну, не сердись, — усмехнулся Чонка, — я пошутил, пошутил. Она ко всем и всегда внимательна. Честно скажу, единственный человек, которого можно уважать в этом доме, считай и меня в числе остальных. Ей тяжело тут, я вижу, Иване, как ей тяжело от самодурства старого, от этих истерик, одних и тех же глупых разговоров, сплетен, бр-р-р! Тяжело, тяжело, что и говорить! И мне тяжело, но я мужчина. Пять, шесть стаканчиков — и море по колено. Я знаю, она меня не слишком уважает, но, кажется, жалеет по-своему.

Чонка печально задумался.

— Слушай, Василь, — сказал я, чтобы переменить разговор, — я написал статью.

— Какую статью?

— А вот. Садись и слушай.

Усадив Чонку в кресло, я подобрал со стола исписанные листки и начал читать.

Минуты две Чонка слушал спокойно, но затем глаза его приняли испуганное выражение. Он беспокойно ерзал в кресле и раза два старался прервать чтение. Но я жестом останавливал его.

— Ты с ума сошел, Иване! — воскликнул Чонка, когда я закончил чтение. — Это ведь скандал!

— Вот и хорошо, — ответил я твердо, — пусть скандал!

— Нет, нет! — замотал головой Чонка. — Это невозможно...

— Не говори мне, возможно или невозможно, — перебил я товарища, — ты скажи: нравится тебе или нет?

— Бомба! — вдруг оживился Чонка. — Я представляю, какая физиономия будет у пана Лещецкого... Прекрасная статья! Ей-богу, мы ее обязательно напечатаем, — заговорил он быстро и заговорщически. И хотя испуг его еще не прошел, но Чонку уже волновало то необычное, что могло хоть ненадолго всколыхнуть его однообразную, скучную жизнь.

Стали прикидывать, в какую газету можно предложить такую статью.

— Была одна, «Карпатская правда», — прицелился пальцами Чонка, — коммунисты издавали, ох, и жарко от нее становилось, но правительство запретило ее.

И когда он это сказал, во мне шевельнулась ревность, словно Чонка коснулся чего-то моего, личного и только мне одному известного.

Наконец Чонка остановился на так называемом «Независимом еженедельнике», с редактором которого, в прошлом профессором гимназии, Казариком, он был знаком.

Профессор Казарик издавал еженедельную «оппозиционную» газету. Оппозиционность ее заключалась в том, что на ее страницах время от времени бичевались неблагоприятные действия мелких чиновников и изредка вскользь упоминалось об автономии, обещанной, но так и не данной нашему краю. Любимым коньком самого Казарика была Верховина. Он умиленно писал о деревянных церквушках, ощишке, серяках, курных, крытых соломой хатах, постолах, называя все это нашей национальной самобытностью. Казарик напечатал в лубочном издании с картинками толкователь снов, гадательную книгу, и его считали знатоком народной души.

Я усомнился, согласится ли Казарик напечатать мою статью, но Чонка поспешил успокоить меня:

— Казарик, он человек такой! Любит скандалы!.. Но имей в виду, что за статью придется заплатить, без этого нельзя.

— Заплатить?

— Не так уж много, Иване, но все-таки придется.

— Вот все, что у меня есть, Василю, — сказал я, открывая кошелек.

— Да, печально, — промычал Чонка и задумался. — Но все равно, я тебе одолжу, — великодушно предложил он, — только, пожалуйста, никому об этом не говори.

Вечером того же дня мы с Чонкой уже стояли перед дверью дома, где помещалась редакция газеты и квартира Казарика.

В ответ на наш звонок послышались шаги, и через минуту мы с Чонкой очутились в редакторском кабинете, большой захлавленной комнате. Тут были и горы книг, и кипы пожелтевших газет, и деревянная верховинская утварь, и расшитый гуцульский кожан. А на стене наискосок висела трембита<sup>1</sup>.

Сам Казарик оказался кругленьким, румяным и говорливым человеком лет сорока, в коротковатых, узких впису брючках и вышитой сорочке. Его стриженная ежиком голова сидела на короткой шее, и от этого казалось, что владелец ее все время пыжится и выпячивает грудь.

Первые же минуты разговора убедили меня, что слушать других Казарик совершенно не умел, но зато сам любил поговорить. Он только что возвратился из поездки по горным округам, где собирал обрядовые песни и коломыйки, и теперь его распырало от множества впечатлений.

— Да, прошу вас, — говорил он своим бабим, с подскоками, голосом, — Верховина печальна, убога, таинственна! Стнимите у нее все это — и она потеряет себя, перестанет быть нашей Верховиной; вся ее особенность исчезнет.

— Прошу прощения, пане редактор, — не вытерпев, прервал я Казарика, — Верховина не музей, а народ — не восковые фигуры.

Казарик вскопчил и в возбуждении заходил взад и вперед по кабинету.

— А дух?! — восклицал он грозно. — А национальная самобытность?!

— Они не в ощишке и не в куриных хатах, пане редактор, и не в страданиях народа.

Чонка беспокойно задвигался и стал делать мне знаки, чтобы я не возражал, а Казарик будто на коня вскочил! Он сыпал цитатами, кипятился, доказывал, что страдание — благо, что только оно одно делает человека человеком, возвышает его дух и потому прекрасно.

Что-то гаденькое и одновременно страшноватое почувдилось мне в этом человеке.

— Нет ничего легче убеждать других: «Страдай!» — произнес я, воспользовавшись тем, что голос Казарика внезапно сорвался. — Но почему же, пане редактор, когда у вас болит зуб, вы не наслаждаетесь своим страданием и не пишете в честь его стихов, а бежите к дантисту?

— Господа! — вмешался Чонка. — Иване, пане Казарик, об этом как-нибудь потом. Будем деловыми людьми. Мы к вам, пане, по одному важному вопросу. Не сможете ли вы нас выслушать?

Казарик вмиг преобразился, «идейного» пыла как не бывало, точно он его в карман спрятал. Лицо сразу приняло сосредоточенное выражение. Мне показалось, что он даже забыл о том, что спорил со мной и по поводу чего спорил.

Выслушав меня, Казарик долго ходил в раздумье по кабинету.

— Печатать такую статью — это большой риск для меня, — говорил он. — Но если вы очень настаиваете,

<sup>1</sup> Т р е м б и т а — длинная, выдолбленная из дерева труба, музыкальный инструмент карпатских пастухов.

хорошо, буду печатать! Во всяком случае мы договоримся...

Улучив минуту, когда Казарик повернулся к нам спиной, Чонка дернул меня за рукав и кивнул.

Я понял, что наступила пора спросить об основном.

— Сколько это будет стоить, пане редактор? — спросил я быстро и довольно невнятно.

Но Казарик расслышал. Он остановился, засунул руки в карманы пиджака и, глядя на меня исподлобья, сказал:

— Ничего. Н-но... — и при этом «н-но» он качнулся с носков на стоптанные каблукки, — возможно, моей газете будет нанесен ущерб, если появится такая статья, прошу вас. Надо учитывать: личности — раз, специальность вопроса — два, тон статьи — три... Словом... триста крон... Но только, если вы, прошу вас, согласитесь несколько смягчить тон статьи, тогда, разумеется, для газеты риска меньше и, прошу вас, соответственно все остальное...

— Триста крон, — подумал я вслух.

— Большой риск для газеты, — повторил Казарик. — Но я, прошу вас, сознаю долг независимой прессы бичевать язвы нашего общества...

— Соглашайся, — шепнул Чонка. — Дешевле не будет.

Я согласился.

Казарик принял деньги, как принимает их врач за визит, — не глядя, но очень ловко.

— На следующей неделе в номере, прошу вас, — любезно улыбнувшись, сказал он на прощанье.

Спускаясь по лестнице, где пахло кошками и типографской краской, я спросил Чонку:

— А если не напечатает?

— Вернет деньги, — ответил Чонка. — Он человек честный...

## 21

«На следующей неделе в номере...» К этому ожиданию прибавились еще поиски службы.

Однажды после целого дня безрезультатного хождения по разным конторам, усталый, раздраженный, подошел я к лембеевскому дому, и едва только взялся за ручку калитки, как услышал оклик:

— Иванку!

Я обернулся, не представляя себе, кто же мог меня так окликнуть в Ужгороде. И каково было мое изумление, радость, растерянность, когда я увидел Гафию! Высокая, худая, с узелком в руке, она спешила ко мне через улицу из сквера.

— Мамо! — проговорил я, впервые назвав так Гафию, и таким теплом вдруг пахнуло на меня, такой всеильной защитницей показалась мне теперь эта молчаливая, тихая женщина, что я устремился к ней, как устремлялся когда-то к матери, когда она возвращалась домой после работы.

— Иванку, Иванку, — говорила Гафия. — Я тебя давно дожидаясь. Мне тут паничка сказала, ты позднее придешь.

Я был так обрадован, что ее появление не вызвало во мне тревоги, хотя я знал, что Гафия, может быть, два или три раза за всю свою жизнь покидала Студеницу.

Только когда мы очутились во флигелечке и Гафия, положив у своих ног узелок, села, я забеспокоился: уж

не случилось ли что-нибудь с Горуле? Гафия сразу же уловила мое беспокойство и, не дожидаясь дальнейших вопросов, сказала:

— До ликаря пришла, Иванку. Грудь болит. Як ночь придет, так и кашляю.

Она произнесла все это торопливо, избегая моего взгляда.

— И вуйко вас одну отпустил?

— Что мне станет, — ответила Гафия. — Я не малая. У Илька и без меня забот много... А ты похудал, Иванку!.. Йой, похудал!.. Я тут тебе курку принесла, сыру, яичек. Спасибо Рущакову Семену, он мне твой адрес написал. — И начала развязывать узелок.

— Зачем? Не надо, — протестовал я.

Но Гафия и слушать не хотела.

— Ешь, Иванку, не от чужих, — говорила она и вздыхала, — як бы можно было побольше...

— Что дома? — спросил я после паузы.

— Дожди... туманы...

— И здесь дожди... А что вуйко?.. Сердится еще на меня?

Гафия сделала вид, что не расслышала. Она помолчала, а затем, подняв на меня глаза, осторожно спросила:

— А ты як тут, Иванку?

Мне было очень трудно говорить неправду, но из самолюбия и потому, что мне не хотелось огорчать Гафию, я сказал:

— У меня все хорошо. Теперь только жду решения.

— А не обижают?..

— Да нет, что вы! — улыбнулся я через силу. — Кто меня может обидеть?

И по чуть приметному вздоху Гафии я понял, что она не очень-то поверила мне.

Дальше разговор у нас не клеился. И сколько я ни пытался завести речь о Горуле, Гафия отвечала односложно и неуверенно.

Вдруг она заторопилась.

— Мне уже пора, Иванку. Сижу, будто в гости пришла.

— Я пойду с вами к доктору, — сказал я.

Гафия сразу смешалась.

— Ни, ни, — замахала она руками. — Не ходи, Иванку, я сама!

— Да что вы! — воскликнул я. — Никуда я вас одну не пуцц!

Гафия поймала мою руку и зашептала:

— Не ходи, Иванку, дуже прошу тебя...

Столько испуга было в ее голосе, что я не решился настаивать на своем.

Я проводил Гафию до ворот. Она пошла по улице торопливо, ни разу не оглянувшись, и вдруг я подумал: не ждет ли ее неподалеку Горуля?

## 22

Шумит проливной дождь. Сквозь окна видно, как в его струях дробится свет уличного фонаря.

Чонка в плаще с поднятым воротником, мрачный, расстроенный, сидит у меня во флигеле, не выпуская из рук мокрого полузакрытого зонтика. Вода, стекая с зонтика, образовала лужу, но мы не обращаем на нее внимания.

— Каков мерзавец! — повторяет Чонка. — Ай, ай, ай, какой мерзавец! Тут крупно заплачено. Он сам ее и написал, чтобы мне с этого места не сойти!

Я почти не слышу, что говорит Чонка. Мысли мои путаются.

На столе валяется смятая газета с напечатанной статьей. Но статья эта не моя. Она обо мне. В грязном бульварном фельетоне называли меня шарлатаном и неучем, а мою записку — бессмысленной чепухой, при помощи которой будто бы я рассчитывал сделать карьеру.

Я был совершенно убит, когда прочитал этот фельетон, под которым стояли ничего не говорящие инициалы «А. Б.».

— Это — дело Лещецкого, — произносит после горестного раздумья Чонка. — Простая коммерция: Казарик понес твою статью Лещецкому, чтобы выудить побольше денег, чем он от нас получил. А Лещецкий купил и твою статью и самого пана Казарика. Вот как это все делается!.. Но ты не отчаивайся, Иване, слышишь, не отчаивайся. Что поделаешь! Мы еще, может быть, что-нибудь придумаем. Хочешь, набьем и Казарика и Лещецкому морду? Ну, не молчи ты, ради бога, Иване!

— Да, да, что-нибудь придумаем, — машинально повторяю я.

Чонка встает и делает несколько шагов по комнате, морща лоб.

— И все-таки, Иване, не придавай, пожалуйста, дорогой, всему этому такого большого значения. Забудется, вот увидишь, забудется!

Он еще долго тяжело вздыхает и чертыхается, открывая и закрывая зонтик.

Когда Чонка ушел, я почувствовал, что не в силах оставаться один в комнате. Накинув плащ, без шляпы, я вышел под дождь, пересек двор и очутился на пустынной улице.

Она тянулась передо мной бесконечным черным коридором. Огни у подъездов домов горели тускло и сиротливо, точно их случайно забыли здесь среди сырого мрака.

Дождь, смочивший мою непокрытую голову, и порывы холодного ветра освежили меня. Оцепеневшая было мысль робко, с перебоями, будто долго стоявшие и вновь введенные часы, начала свой прерванный бег... «Правду нелегко слушать...» Кто это сказал?.. Куртинец... И передо мной всплыло его лицо и сизое облачко табачного дыма под усами, словно очень далекое воспоминание... «Правду нелегко слушать». Вот она, правда...

Я свернул в переулочек и оказался перед светящейся дверью ночного буфета. Машинально толкнул ее и вошел в задымленное помещение, освещенное зеленоватым светом газового рожка. Поздние посетители пили вино у буфетной стойки. Два тощих цыгана, закатывая глаза и отбивая такт ногами, пиликали на скрипках.

Я подошел к стойке.

— Какого пан прикажет? — спросил хозяин, выжидающе склонив набок голову.

— Все равно, — сказал я.

Хозяин взял с полки стакан и стал наполнять его розоватым вином.

Посетители были пьяны и разговаривали громко, словно глухие.

Я выпил вино не переводя дыхания, как пьют при сильной жажде воду.

— Лучшее в Ужгороде! — щелкнул языком хозяин. — Не правда ли?

Я промолчал и знаком попросил налить второй. Был налит второй и третий, я пил вино залпами и не пьянел, а испытывал только знобящую теплоту во всем теле.

— Еще? — вопрошающе, с бутылкой в руке, глядел на меня буфетчик.

— Да, еще, — кивал я.

И розоватая жидкость, вся в искорках, булькая, заполняла стакан. А я не пьянел. В голове становилось легко, просто, и каждое слово «еще», которое я произносил, звучало вызывающе громко среди пьяного смутного говора посетителей. Один из них, стоявший ко мне спиной, неожиданно обернулся. Мутные глаза его уставились на меня.

— Пяне, — произнес он, с трудом выталкивая заплетавшимся языком слова, — я хочу выпить с вами за то, чтобы все на свете шло к черту, вот за что... Все к черту!.. — и, мгновенно забыв обо мне, уронил голову на стойку.

— Лучшие экипажи в городе! — шепнул мне хозяин буфета, кивая на охмелевшего посетителя. — А жена сбегала с кошицким вояжером, не слышали? Об этом говорит весь город!.. Еще стаканчик?

— Нет, — покачал я головой и стал расплачиваться. Очутившись на улице, я снова почувствовал озноб. Лицо мое горело, глазам было больно глядеть даже в темноте. Я шел в каком-то полубытьи. Минутами сознание, как от толчка, начинало работать лихорадочно и ясно. Да, Куртинец прав, прав во всем, что он говорил. То, чего я добивался и что мечтал осуществить, было не только не нужно пану губернатору, Лещецкому, всем этим депутатам и сенаторам, не только не нужно, но и враждебно им. И Горуля понимал это. Сознание опять мутилось, и все исчезало, кроме болезненного озноба, трясающего меня.

Я не помню, как очутился у дома Лембея, как отпер калитку и вошел во флигель. Я помню только, как взял со стола зеленую папку и спокойным, размеренным движением начал вырывать из нее страницы, одну за другой. Затем так же спокойно я сунул весь этот бумажный ворох в печку и поджег его.

Синее пламя лениво поползло по одной из страниц. Смятый лист расправился, как живой, и я успел заметить, что это была первая страница вводной части записки, а когда лист расправился еще больше, мелькнула строка из сказки о ключе Миколы: «...А земля все стоит и стоит запертая». Но вот синеватый огонь лизнул эту строку и обуглил ее. Я не ощущал ни сожаления, ни раскаяния; полное безразличие овладело мною. Вдруг весь ворох запылал ярким золотистым огнем, клочки черного пепла выпали из печки — и больше я уже ничего не помнил.

Десять дней... Их следует считать вычеркнутыми из моей жизни. Единственно, что осталось в памяти, — это короткие проблески сознания, когда сквозь мутную пелену забытья я еле различал очертания лиц склонившихся надо мной людей и слышал звуки их голосов. Но стоило чуть-чуть напрячь силы, чтобы пошевелинуться или что-то произнести, как лица таяли, звуки сливались



в одну дребезжащую ноту, и я вновь впадал в беспамятство.

Десять дней, теперь они остались позади. Мои глаза открыты, и надо мною, склонившись, стоит Ружана. Лицо девушки осунулось, и я ясно вижу, как дрожат слезинки на ее ресницах.

— Почему вы плачете? — спрашиваю я, и собственный мой голос кажется мне чужим и далеким.

— Не знаю, пане Белинец... Теперь будет все хорошо...

Жизнь со всеми ее ощущениями, памятью и желаниями осторожно, будто пробуя, выдержу ли я весь этот груз, возвращается ко мне. Я уже сознаю, где я и что со мной произошло; я вижу, что на улице день, светит солнце и ветер качает под окном голые ветки дерева. Вижу склянки с аптечными сигнатурками на столике возле кровати и чувствую, как Ружана подносит к моим запекшимся губам ложечку с лимонной водой.

— Выпейте, — просит она.

Я пью покорно, но неловко, по капле.

— Совсем разучился.

На лице Ружаны выражение материнской заботы, от которой на душе делается легко и спокойно.

— Какой сегодня день? — спрашиваю я.

Ружана отвечает.

— Я был очень болен?

— Да, вы были очень больны, пане Белинец, но теперь все прошло. Прошу вас, ни о чем не думайте и не разговаривайте много: это вредно... Я только об одном хочу вам сказать: когда вы были больны, вами интересовался пан Матлах. Он говорил, что вы с ним из одного села, и просил передать, что, как только представится возможность, ему нужно встретиться с вами.

— Матлах? — переспрашиваю я. — Да, мы с ним односельчане... Что ему надо?

— Ну, вот вы уже и волнуетесь, — укоризненно говорит Ружана. — Знала бы, ничего бы не сказала.

— Нет, я не волнуюсь... Матлах?.. Он не говорил, зачем я ему нужен?

— Нет. Он приезжал в Ужгород к врачам. У него ноги больны, не может передвигаться... Скоро он снова придет. Все! Больше и не вздумайте расспрашивать!

Я ощущаю такую усталость, что глаза мои смыкаются и я засыпаю.

Возвращаясь из банка, Чонка сразу забегает ко мне во флигелек.

— Рад, что все обошлось и ты выкарабкался, — говорит он, грузно опускаясь в кресло. — Слушай, а не глотнуть ли нам по случаю твоего выздоровления? Нельзя? Почему нельзя? А, эта Ружана! Но что женщины понимают в вине? Ровным счетом ничего.

Чонка тоже говорит мне о Матлахе.

— Черт его знает, зачем ты ему понадобился! Но Матлах — это серьезно. Он высоко котируется, его побаиваются. Груб? Да, груб, но человек своего слова. Скажет: «Я вас съем», — и съест, даже косточек не останется. Скажет: «Я вас озолочу», — озолотит!

— И тоже косточек не останется? — улыбается Ружана.

— В деловом мире и так бывает, — соглашается Чонка.

Только через несколько дней Ружана разрешила мне прогулки по дворовому садику. Ей доставляло большое

удовольствие опекать меня, а мне — подчиняться ее опеке. Иногда она сама подолгу бродила со мной взад и вперед по коротким дорожкам садика, расспрашивая о Верховине, Брно, о людях, которых мне приходилось встречать. Я рассказывал ей о Горуле, быстровском учителе, Гафии, докторе Марекке. Для Ружаны это были люди из другого мира, совсем не похожие на тех, каких знала она.

Но радостное чувство выздоровления омрачилось. Я очень скоро заметил, как сухо разговаривали со мной старый и пани Юлия. Красные глаза Ружаны и раздражительность Чонки были тоже достаточно красноречивы; было ясно, что в доме Лембеев разлад и виновник его я.

В конце концов Чонка рассказал мне о том, какая буря поднялась в семье, когда Ружана не дала увезти меня в больницу и, пренебрегая возмущением домашних, приняла на себя тяжелую обязанность сиделки. Она не отходила от моей постели в течение десяти дней, строго выполняя все указания врача.

— Представляешь себе, — говорил Чонка, — впервые взбунтовалась, и еще как! Старый и Юлия до сих пор не могут прийти в себя. А к тому же они ведь верят, Иване, всему, что было про тебя написано в той паршивенькой статейке... Но не обращай на это, пожалуйста, внимания, пусть думают, что хотят. Если на то пошло, черт побери, хозяин здесь я! Я тащу их на своей шее, вот и все!

Я был благодарен Чонке, но, как ни велика была моя благодарность и как ни был я теперь привязан к Ружане, я чувствовал, что задыхаюсь в затхлой атмосфере дома Лембеев. Самолюбие мое страдало ужасно, и сознание, что сейчас мне некуда идти, было мучительно.

Поисками службы я занялся, едва только оказался в состоянии кое-как держаться на ногах.

Сначала мне как будто повезло, я узнал сразу два адреса, где требовались инженеры сельского хозяйства. Помчался по первому адресу, но, увы, как только назвал свою фамилию, наступила пауза и мне вежливо ответили, что, к сожалению, вакансия уже занята. То же самое произошло и в другом месте.

Отказали и Чонке, когда тот попытался устроить меня на должность переписчика в частной конторе. Днем еще он уверял, что нечего беспокоиться и должность за мною, а вечером, вернувшись из банка, уныло развел руками.

— Ничего не получилось, Иванку. Эта паршивая статейка портит все дело.

Потянулись тяжелые недели бесплодных поисков работы. Первое время я еще лелеял надежду на какую-нибудь счастливую случайность, но в конце концов, даже от этой призрачной надежды ничего не осталось. И, к числу тех, кто целыми днями простаивал на пешеходном мосту и набережной, мрачно наблюдая за рыбаками, прибавился еще один неудачник.

Осень быстро наводила на реке свои порядки. Уж стал многоводным, быстрым от идущих в горах дождей. Убрались восвоеси рыбаковы, оставив под мостом до весны свои вышки-сиденья, только я и те, кто сгали теперь моими товарищами, попрежнему часами в ступении глядели на бурую реку.

Однажды утром, когда я собирался выйти из дому, Ружана передала мне письмо. Его принес какой-то человек.

Я развернул листок, на котором корявым псечерком неискушенного в грамоте человека было написано: «Пане Белинец, прочитай вашу записку. Если вы теперь не хвораега, прошу зайти до меня в отель Берчини. Матлах».

Я протянул письмо Ружане и, когда она пробежала его глазами, спросил:

— Откуда у Матлаха моя записка? Я ведь ее не посылал ему.

— А разве это нехорошо, что она оказалась у Матлаха?

— Просто загадочно, — ответил я.

Ружана смутилась.

— Простите, что я сделала это без вашего разрешения. Экземпляр, который вы послали в министерство, вернулся обратно еще во время вашей болезни. Отец Новак заинтересовался запиской и захотел ее прочесть. Он очень образованный и отзывчивый человек, пане Белинец. Он мне сказал, что его христианский долг помочь вам стать на дорогу.

— А от отца Новака записка попала к Матлаху?

— Да, пан Матлах, когда бывает в Ужгороде, беседует с отцом духовным... Не ругайте меня, пожалуйста. И я и отец Новак желаем вам только хорошего.

Я вернулся во флигель и написал: «Буду у вас завтра в три часа дня. Ивац Белинец».

На веранде дома ответа ждал похожий на седую, исхудавшую крысу, костлявый, с настороженными завистливыми глазками секретарь Матлаха — Сабо.

## 24

Черный, сверкающий, нарисованный на стекле ботинок, кусок мыла в лучистом ореоле, два ряда ослепительно белых зубов... И надписи:

«Сегодня Европа признала обувь Бати самой практичной и удобной, завтра это признает все человечество!»

«Лучшее в мире мыло «Лебедь!»

Это дверь ужгородского отеля Берчини. Я открыл ее и очутился перед конторкой.

— Пан Матлах в двадцать втором, — сказал портье, узнав, к кому я пришел. — Но вам придется подождать немного пана, пока от него не уйдут врачи. Три врача! — И, обернувшись, он крикнул: — Йошка!

Из чуланчика под лестницей выскочил юркий мальчик-рассыльный.

— Проводи пана в двадцать второй!

Мальчик поклонился и, пробираясь бочком возле перил, повел меня по лестнице на второй этаж.

— Пятая дверь направо, — пояснил он, указывая на полутемный длинный коридор. — А подождать вы можете здесь, — кивнул он в сторону старинного плюшевого дивана.

Ждать мне пришлось не очень уж долго, каких-нибудь минут десять, но мне они показались бесконечными.

«Что нужно от меня Матлаху?» — уже в который раз спрашивал я себя.

Но вот в полутемном коридоре хлопнула одна из дверей, и цо вестибюлю мимо меня прошли, застегивая на ходу пальто, трое. «Три врача», — вспомнились мне слова портье. Следом за врачами вышел здоровенный парень с румяным, лоснящимся, чрезвычайно самодовольным лицом и стал спускаться с лестницы. Это был младший Матлах.

Я выждал немного, затем пошел по коридору и, найдя двадцать второй номер, постучался.

— Да, да, кто там? — послышался раздраженный голос.

Я вошел.

Посреди комнаты, держась одной рукой за край стола, а другой за спинку стула, стоял грузный человек с дряблым, вытянутым вперед лицом. Чувствовалось, что стоять человеку тяжело, а он упрямо, словно кому-то наперекор, не садился. Все было на нем точно и купо: на животе из-под жилетки торчала белая сорочка, брюки едва прикрывали щиколотки, а из коротких рукавов пиджака вылезали большие красные, словно только что вымытые холодной водой руки. Да, он постарел, Матлах!

— Жулики они, вот что я вам скажу! — выкрикнул Матлах, даже не ответив на мое приветствие. — Я этих докторов вижу насквозь. То не ешь, то не пей, хотят упрятать меня в какой-то санаторий на целый год. Пусть лучше скажут, что ничем не могут помочь, — и дело с концом! Пусть так и скажут, а не тянут с меня грóши. Мои грóши не для того добыты, чтобы их по ветру без толку пускать.

С большим трудом, неуверенно, как ребенок, который учится ходить, Матлах сделал два шага по комнате, не выпуская из рук спинку стула, и сел на край кровати. Его возмущение против врачей погасло, я даже удивился такому внезапно наступившему спокойствию.

— Жду, жду вас, пане Белинец, — деловито приветствовал он меня, и неприятный, ощущающий взгляд бесцеремонно пополз по мне сверху вниз и остановился где-то на носках моих ботинок. — С батьком вашим мы были когда-то хорошие знакомые... Прошу садиться.

Я поблагодарил за приглашение и сел, ожидая, что сейчас начнутся обычные в таких случаях воспоминания и расспросы, но, к моему удивлению, ничего этого не последовало.

— Будем говорить с вами о деле, пане Белинец, — произнес Матлах, едва я только опустился на стул. — Читал, читал, что про вас в газетке было написано, и все, что сами написали... Ну, на газетку я начихал. У них там своя коммерция: не сбрыхнешь — ноги протянешь. Вон и мне от вас крепко досталось, ох, и крепко!

— Я писал то, что думал, — сказал я сухо.

— И зря так думали, — продолжал Матлах. — Что я, зверь? Ну, было, конечно, вон Штефакову Олену мои дураки обидели. Нехорошо... Был бы я дома, разве ж я б позволил? Ну, что про прошлое вспоминать, если человеку дан и сегодняшний день и завтрашний!

Он пошарил взглядом вокруг и, видимо, найдя то, что искал, попросил:

— Не почитайте за труд дать мне вашу книжечку, или как она по-ученому называется... Вон, на столе лежит.

Я поднялся, взглянул на стол и только теперь заметил знакомую зеленую папку. Горячая волна прихлынула к лицу, пальцы дрогнули, я взял папку и передал ее Матлаху.

— Читал, что вы написали, — повторил Матлах и стал перелистывать страницы; они шелестели под его пальцами, как пересчитываемые денежные банкноты. — Я и не гадал раньше, пане Белинец, что на Верховине такое богатство может быть, а вы вот сразу и увидели! —

Матлах перестал листать, остановившись на одной из страниц.

— А ну, — сказал он, протянув записку, — прочитайте мне еще раз то, что я карандашом наметил.

Я взял протянутую папку и увидел на полях страницы две жирные карандашные линии.

— Вот это и почитайте, — гнулся пальцем Матлах в подчеркнутый абзац.

То была мысль, навеянная мне мечтаниями Горули у костра в колыбе. Давно ли это все было? А кажется, что бог весть сколько прошло с тех пор.

— «Бого знает, — начал я читать, — может быть, со временем, когда проблема хлеба на Верховине будет решена, там может возникнуть высокопродуктивное молочное животноводство, не уступающее животноводству Швейцарии. Человек превратит оскудевшие земли долины и склонов в прекрасные пастбища, и молочные фермы станут неотъемлемой частью верховинского пейзажа. Но теперь это область мечтаний. Хлеб насыщенный — вот что нужно нашей Верховине».

На какой-то миг вспомнился мне день и час, когда я это писал, и та владевшая мною уверенность в успехе, и те прекрасные картины будущего родного края, рисовавшиеся так ярко моему воображению...

И вдруг голос Матлаха:

— А что, пане Белинец, если я буду ставить молочные фермы на Верховине?

— Вы?

— Ну да.

— Вы хотите моего совета?

— Ни, — сказал Матлах, — совет вы уже мне дали.

Я его тут вычитал, — и он кивнул на записку.

— Какой же это совет? — проговорил я, ощущая смутное беспокойство. — В своей записке я говорю не об отдельном хозяйстве, а о целом крае, и к тому же молочный скот, фермы — это просто мечтание о возможном будущем...

— Для кого и мечтания, — усмехнулся Матлах, — а для меня добрый совет.

— Что же, — сказал я, принужденно улыбаясь, — дело хозяйское. Если есть возможность поставить ферму и обеспечить ее кормом, она может принести немалую выгоду.

— Вот и я так решил, — произнес Матлах, и в глазах его вспыхнула жадная искорка. — Сначала поставлю одну, потом другую, а там, даст бог, третью и десятую.

Он произнес это глуховато, почти шепотом, с жестокой силой уверенного в себе человека.

— Думаете, у меня на то грошей не хватит? Хватит! Батя, какжт, с сапожника начал, а стал обувным королем! Почему бы и мне не попробовать? Начну с малого, а добьюсь того, чтобы наилучшим маслом люди считали масло Матлаха, чтобы наилучшим сыром считался не какой-нибудь там швейцарский, а мой, матлаховский, сыр! Я на то грошей не пожалею, чтобы над крышами и мое имя горело электрикой. Что для этого надо? Добрый скот взамен нашего карпатского бурого? Что же, завезу швицкый. Полонины? Пока и такой земли хватает, а не хватает — скуплю! Пастухов надо? Будут пастухи!

Планы Матлаха показались мне пустыми фантазиями тщеславного, одержимого одним только стремлением к богатству человека, и Матлах словно угадал мою мысль.

— Ну, знаю, знаю, пане Белинец, — сказал он с усмешкой, — что вы сейчас думаете, да чего не скажете: «Уж не тронулся ли ты умом, старый Матлах?» Так ведь?.. Нет, не тронулся. Я все подсчитал, пане Белинец, ночи не спал, а считал. Поглядите, вот они, мои подсчеты! — И с этими словами он распахнул ворот сорочки, излек из-за пазухи бычий пузырь, в котором вместе с пачкой денег была завернута пухлая и потрепанная записная книжка, и стал листать ее исписанные цифрами страницы.

— Что теперь скажете? — спросил Матлах. — Гроши для этого нужны? Не считайте моих грошей, то уж моя забота... А вы, пане Белинец, дайте моим фермам корм, побольше да получше. Такой человек, как вы, мне нужен.

Будто плетью хлестнули меня последние слова. Служить у Матлаха? Так вот зачем я понадобился ему?! Я чувствовал, как кровь прихлынула к моему лицу. В номере стало вдруг темно, и было такое ощущение, что кто-то тянет меня к самому краю крутого обрыва.

— Нет, пане Матлах, — проговорил я сдавленным голосом, — ваше предложение я принять не могу.

— Зря, — нахмурился Матлах, — ей-богу, зря. Ведь все равно вам служить у кого-нибудь надо. Не у меня, так у другого. Так не все ли равно? — и добродушно добавил: — Ну, ладно, не слышал я вашего отъезда, пане Белинец. Подумайте лучше, а я подожду. Только, по чести сказать, чего тут долго думать? Я же вас в компаньоны не зову, и грошей мне ваших не надо. Я вам даю землю, и делайте с ней все, что вы в своей записке пишете... Сдается мне, пане Белинец, что другой такой выгодной службы у вас не предвидится. А я обижать не стану.

Из гостиницы я ушел в подавленном состоянии. «В самом деле, — думал я, — не к Матлаху, так к другому надо идти под ярмо. Государственной службы мне теперь не получить, об этом и мечтать нечего. Куда же податься, как жить? Опять носить по улицам картонный башмак или снова сесть Горуле на шею... Нет, ни за что! Но Матлах, Матлах — это уж слишком!»

Снова начались мучительные поиски работы. Я до сих пор храню экземпляры газет с объявлениями на последних полосах: «Инженер сельского хозяйства, окончивший курс в Брно, ищет место. Согласен в отъезд. С предложениями обращаться: Ужгород, почтовый ящик Д/23».

Ежедневно я приходил на почту, открывал ящик, но ящик был пуст. «Ничего, — утешал я себя, — завтра что-нибудь да будет». Но наступал завтрашний день, и ничего в положении моем не менялось.

Чонка одолжил мне триста крон, которые «честно» возвратил Казарик. Я ездил в Пряшев, Мукачево, Берегово — и все безрезультатно. Советским людям моего поколения неведомо это ужасное чувство, когда у человека есть сильные руки, знания, специальность, жажда работы и их не к чему приложить. Тупое отчаяние преследует безработного даже во сне. Ночью ждешь утра, а когда оно приходит, не рад, что оно пришло. День кажется бесконечным, все люди — врагами, мозг отупевает, движения становятся вялыми, тяжелыми. Работы, работы!

Но вот как будто судьба сжалилась надо мной: в ящике Д/23 я нашел открытку. Как голодный берет про-

тянутый ему ломоть, так и я жадно схватил эту желтоватую почтовую карточку, на которой было написано: «Вдова Калмана Гедеш из Берегова предлагает пану инженеру Белинцу место управителя в небольшом имении. Для переговоров прошу пана явиться в Берегово, на Бенешевскую улицу десятый дом».

Вдова Калмана Гедеш приняла меня любезно. Поместе у нее было небольшое, сама она постоянно жила в городе, и ей нужен был честный управляющий. Но так как рекомендаций у меня никаких не было, за исключением диплома об окончании институтского курса, пани Гедеш попросила меня повременить несколько дней. Я возвратился в Ужгород и стал ждать. Ответ из Берегова пришел очень скоро. В ящичке Д/23 меня ждала открытка.

«Вдова Калмана Гедеш честь имеет сообщить пану Белинцу, что на ее запрос в краевую земельную комору рекомендация была дана пану инженеру не в его пользу, о чем вдова Калмана Гедеш весьма сожалеет».

Петля на моей шее затягивается все туже. Подлая газетная статейка, Лещецкий неотступно шли за мной следом... Пересуды и дразни в доме Лембеев, где я вынужден был оставаться, ежедневные упреки Юлии мужу, что это по его милости у них в доме живет человек, от которого отворачиваются все приличные люди, не давали дышать.

Мне не на что было надеяться, а жить дальше так, как я: жил теперь, чувствовать унижительную зависимость от едва терпевших меня старого Лембея и Юлии я больше не мог.

...И вот опять секретарь Матлаха Сабо принес ко мне письмо. Я пробежал его глазами и смял листок...

Матлах ждал меня в гостинице. Тяжелый, обрюзгший, раздраженно оттолкнув от себя пытающегося ему помочь сына, он поднялся мне навстречу, цепляясь руками за край стола и спинку кровати.

— Ну что, пане Белинец, все еще не решаетесь? Пора, ей-богу, не пожалее... Вы все думаете: «Вот, работать на Матлаха!» — а ведь на самом деле для Верховины будете работать. Что же, я не человек и не вижу, какая она, наша Верховина? Все вижу... А мы ее на ноги поставим! Я не шутку, пане Белинец. Застрою Верховину фермами, от Ясеней до самой до Словакии. Дайте мне только срок, чтобы развернуться, и увидите: всем найду у себя работу, никого без хлеба не оставлю... а вы мне помогите наукой...

Я слушал, опустив голову. Никто не мог быть моим советчиком сегодня. Решать надо было самому.

«Допустим, — думал я, — что в конце концов мне даже удастся получить место агронома в чем-нибудь поместье, но ведь все равно и там Матлах! Матлах — только под другой фамилией. Здесь хоть мне представлялся случай работать на горной земле и, может быть, чем-нибудь помочь людям Верховины... Или опять возвращаться во флигелёк Лембеев?»

Выхода не было...

— Значит, договорились, пане Белинец? — произнес Матлах. — Ну, як кажут, дай бог!

## 25

Как ни противился Матлах, а пришлось ему уступить врачам. Он бы поупрямился и дальше, в надежде, что, может, обойдется без лечения, если бы, проснувшись

однажды утром, не почувствовал, что ноги совсем не повинуются ему. Матлах испугался и стал звать на помощь.

Врачи предложили срочно ехать в Прагу, и он согласился.

Меня в этот день в Ужгороде не было. Я выехал в Мукачево, где должен был встретиться и переговорить с доверенным лицом Матлаха о будущем строительстве фермы.

Когда я вернулся, дверь мне открыл Чонка.

— Где ты пропадаешь? — накинулся он на меня. — Матлах тебя разыскивает. Скорее на вокзал!

— Почему на вокзал? — удивился я.

— Как, ты не знаешь?! — воскликнул Чонка. — Твой шеф уезжает в Прагу. Полчаса назад приходил его отпрыск и велел передать, что пан Матлах ждет тебя уже на вокзале.

Матлаха я нашел на платформе, он сидел там на раскладном стуле. Ноги его были закутаны в черный мохнатый самотканый платок, какие носят у нас женщины в низинных селах вместо зимней верхней одежды. У ног лежала старая верховинская тайстра. Провожатых было двое: сын Андрей и суетившийся вокруг хозяина Сабо, на которого, как мне казалось, сам Матлах поглядывал с презрением.

Матлах был угрюм и сосредоточен.

— Приходится ехать, пане Белинец, черт бы их взял всех! — произнес он, когда я подошел к нему. — Думал, обойдется и так... Вы сгадайте, сколько грошей пропадет из-за этих проклятых! Вот приходится мне повсюду таскать с собой человека, — и он кивнул в сторону Сабо, — и сына надо брать с собой. Ну, что вы там, в Мукачево, успели?

Я подробно рассказал о своей поездке.

— Вот и добре, — оживился Матлах, — пробуйте сами, пане Белинец. А время без меня не теряйте. Что только нужно, делайте. Я для вас и гроши приготовил, вот, пойдите в сторонку и пересчитайте, я уже считал.

Как и в прошлый раз в гостинице, он расстегнул ворот сорочки и извлек из бычьего пузыря завернутую в бумагу пачку денег.

— Зачем мне считать, — сказал я, — если вы сосчитали?

— Нет, уж сосчитайте, — запротестовал Матлах. — Гроши любят, когда их лишний раз пальчиками перевернут. А потом вот здесь, на этом листочке, — и расписочку дадите, сколько получили.

Я сосчитал деньги, затем написал на листке расписку. Матлах прочитал ее, шевеля губами, спрятал в бычий пузырь и застегнул ворот сорочки.

— Вот и начало, — произнес он. — Если бы не мои ноги, у нас бы дело быстрее пошло... Вернусь, сам буду с вами фермой заниматься. Я вон чул, Батя и теперь сам везде нос сует: хозяин!.. На обратной дороге в Элин заеду, надо поглядеть, как у него там дело крутится, может и для себя я какую-нибудь пользу подмечу... С сапожника начал, а вон куда вышел!..

Платформа между тем заполнилась пассажирами. Подали состав. На вагонных подножках стояли проводники в каскетках. Людские голоса смешались с визгом колес багажных тележек и предостерегающими окриками носильщиков.

— Пора и нам, — произнес Матлах и начал протаться.

— Поднимай, Андрей, — приказал Матлах.

К моему изумлению, Андрей без всяких усилий, словно то был не человек, а узел с тряпьем, поднял Матлаха и понес его.

Сабо, поправив галстук-бабочку, подобрал стул, тай-стру и поспешил следом за хозяином.

— Нет, нет, пане Белинец, вы просто родились в сорочке, мы все так рады за вас! Беденький, сколько вам пришлось перетерпеть! Ах, не говорите, не говорите, как это ужасно быть оклеветанным! Я так переживала за вас, но все время твердила Василию, что в конце концов правда восторжествует и вы будете вознаграждены. Вот видите, так и случилось. Отец говорит, что лучшей службы, чем у пана Матлаха, не надо и желать. Как мы все рады!

Это разливается соловьем Юлия. Стодкнувшись со мной в садике на дворе, она зазвала меня в дом и вот уж бог весть сколько времени рассыпается в комплиментах мне и бурно выражает свою радость по поводу того, что я получил службу у Матлаха.

Мне стыдно за себя, стыдно за Юлию. Краешком глаза я слежу за Ружаной. Она стоит спиной ко мне у окна, в дальнем, скрытом полумраком конце столовой. Понимает ли она мое состояние?

За дверью раздается глухой стук и спасительный детский плач. Юлия срывается с места и бежит в соседнюю комнату.

Ружана быстро оборачивается и подходит ко мне. По лицу я вижу, что она от души жалеет меня.

— Уйдемте, пане Белинец, — просит Ружана.

— Куда?

— Куда хотите, но уйдемте.

— Бродить по городу, хорошо?

— Все равно.

Небо в звездах. Легкий морозец. Время еще не позднее, а улицы уже пустыньны. Только в завешенных полотняными шторами окнах домов светятся огни.

И чем дальше уходим мы от дома Лембея, тем легче становится на душе, словно там, позади, вместе с Юлией осталось все тяготившее меня.

И так мы идем долго и молча. Я осторожно беру Ружану под руку.

А улицы ведут нас в гору, все в гору, мимо церкви, по Цегольнянской. Гравий шуршит и щелкает под ногами. Вот развилка. Мы сворачиваем вправо. Подъем становится все круче.

— Что это за улица, Ружана?

— Кажется, Высокая.

Дома, отделенные садами, стоят здесь только с левой стороны: направо сразу под крутой уклон тянутся виноградники. Мы всходим на самый гребень улицы, и перед нами внизу весь город. С высоты кажется, что горят его огни неярко, и не горят, а теплятся. Кто-то рассыпал их, как зерна, среди темноты притиссянской равнины, и они жмутся друг к другу, только одиночки ушли далеко в ночной простор, к переливающейся на горизонте жемчужной ниточке Чопа.

— Зачем мы пришли сюда? — спрашивает Ружана.

— Здесь высоко. Люди любят высоту.

— Разве? — не то удивленно, не то задумчиво говорит Ружана. — Мне почему-то кажется, пане Белинец, что вы вообще высокого мнения о людях.

— Только не о себе, — говорю я печально. — Но на свете есть много по-настоящему хороших людей. Разве вы не согласны со мной?

— Я никогда не задумывалась над этим, — ответила Ружана. — Я только помню: в детстве мне пришлось идти с матерью через кладбище ночью, и я страшно трусила. «Чего ты боишься? — смеялась надо мной мать. — Бояться надо живых: они готовы перегрызть друг другу горло, — а мертвецов бояться не стоит, они самые порядочные люди».

— И с тех пор вы перестали бояться мертвецов?

— Нет, с тех пор я начала бояться и живых.

— И меня в том числе?

— Нет, вас я не боюсь... — И она тихонько пожимает мою руку.

23

Зима прошла в разъездах, закупках семян, составлении рационов для скота, разбивке матлаховской земли для предстоящих посевов.

Матлах очень быстро вернулся из Праги. Пражские профессора с их противоречивыми советами и мало обнадеживающими обещаниями раздражали его не менее, чем ужгородские врачи. Одна мысль, что придется лечиться бог знает какой срок и много крон может вылететь в трубу как раз тогда, когда он, Матлах, затеял такое огромное дело, приводила его в тупое бешенство. Страсть к наживе была сильнее физического недуга. Он не выдержал и бежал из Праги. Он так мне и заявил: «Сбежал».

Я жил то в Верецках, где временно стоял матлаховский скот, то в Мукачеве.

С Ружаной мы виделись редко, только в те дни, когда я наезжал в Ужгород. Она была теперь для меня единственным светлым огоньком, к которому я тянулся. Не было никаких признаний, никаких объяснений, но и без слов мы знали, что любим друг друга. Это понимали и другие.

Для старого Лембея вовсе не явилось неожиданностью, когда однажды я постучался в его комнату и попросил уделить мне несколько минут.

Он величественно согласился, и, пока я говорил, его оловянные глаза, не моргая, разглядывали меня в упор, словно видели впервые.

— Все это хорошо, — пробурчал он, когда я кончил говорить, — но за Ружаной, имейте в виду, я не даю ничего.

— А мне и не надо! — воскликнул я. — Кроме самой Ружаны, мне ничего не надо.

— Это вам не надо, — сердито сказал старик, — а мне, пане Белинец, надо, чтобы моя дочь жила обеспеченно. На одной вашей — как это? — любви далеко не уедешь. А что вы можете предьявить?

— Капитала у меня нет, — сказал я, глядя прямо в глаза Лембею, — но я работаю. А счастливо можно жить и без...

— Нет уж, нет уж, — перебил меня старик, — я больше вашего знаю, что такое счастье. Обеспечьте себя прилично, а тогда пожалуйста. Когда я брал жену, у меня

своя крыша была над головой. Вот так, пане Белинец. Вот когда обзаведетесь своей, тогда милости прошу. — И в знак того, что разговор окончен, он, кряхтя, поднялся с кресла.

Ружана ждала меня на половине Чонки. Сидя посреди комнаты на полу, она строила домик из крашенных кубиков. Двухлетний сын Чонки, очень похожий на отца, заложив руки назад, сосредоточенно следил за ее работой.

Едва я приоткрыл дверь, Ружана быстро поднялась, и кубики с тупым стуком рассыпались по коврику.

Я пытался придать своему лицу спокойное выражение, но, видимо, Ружана угадала все с первого взгляда.

— Этого надо было ожидать, — удрученно сказала она, выслушав мой рассказ о разговоре с отцом. — Боже мой, когда все это кончится?

Целый день до моего отъезда Ружана просидела, запершись у себя, и когда вышла попрощаться со мной, глаза у нее были заплаканные и сухие.

— Что ты решил? — спросила она едва слышно.

Это впервые произнесенное «ты» окрылило меня, ударило мою решимость.

— Мы должны быть вместе, Ружана.

— Да, Иванку, вместе, что бы там ни было!

## 27

Весной в десяти километрах от Студеницы застучали плотничьи топоры. Матлах строил скотный двор своей первой фермы.

Селяне из Студеницы и дальних сел были наняты на сезон. Их белые холщовые рубахи мелькали тут и там по горным склонам, а новые группы селян все шли и шли на матлаховский двор просить работы.

Наймаки вспахивали целину, рыли отводные каналы для дождевой воды, высаживали по гребням вдоль оврагов кусты орешника, и с каждым днем все явственней и явственней выступали контуры полей, на которых чередование посевов должно было стать теперь строгим законом.

Матлаха снесло нетерпение, ему не сиделось на месте. Запряженная сытой парой бричка каждый день появлялась на дороге вблизи полей. Он останавливал лошадей за поворотом у Лесничего моста, откуда видна была большая часть его земли, и, бывало, по часу не сводил с нее прищуренного, все вбирающего в себя взгляда.

— Добро, пане Белинец, — говорил обычно Матлах. — Добро, а мало!

— Чего же мало, пане Матлах?

— Сами разве не знаете? Всего! И скота и земли.

— На пятьдесят голов скота земли достаточно.

— Знаю! — раздражался Матлах. — А если я еще скота добавлю, тогда что?

— Тогда, конечно, — соглашался я, — земли не хватит.

— Вот про то и говорить надо, что не хватит, а не про то, что есть. Я только начал, а уж если начал, то меня не остановишь!

Иногда мне приходилось бывать под Верецками на летнем пастбище. Тридцать отборных коров паслись под присмотром — кого бы вы думали? — Семена Руцака!

Семен! Ты ли это, Семен? Что же тебя, хозяина, так крепко цеплявшегося за свой клочок земли, привело на матлахов двор? Какая сила толкнула тебя в толпу измученных нуждой и безземельем?

Спросил я так, и ответил бы мне Семен:

«Иванку, друже мой, ты же знаешь мою силу. Думаешь, Иванку, у меня ума бы не хватило договориться с паном нотариусом и прибрать к своим рукам землю жинкиных братков? Или тенгеричей торговать? Или, если уж на то пошло, мельницу поставить? Я бы ее своими руками сложил. Все мог бы, Иванку, да не смог. Совесть, ох, эта совесть!.. Стоял я посреде белого света и глядел во все стороны, к чему бы мне свою силу приложить? Билась она во мне в руках, в сердце — не удержать, но куда ни пусти ее, непременно через чужую беду надо переступить!»

Получили письмо, что жинкины братья возвращаются. Пан нотариус встретил меня и говорит: «Ну, что, Руцак, за тобою слово — скажешь его, я такие бумаги выправлю, что не выдать твоим шурыкам земли. Решай, пока не поздно!»

Мне бы, может, зажмуриться и пройти съезд то. Матлах вон и не через такое проходит и даже глаза не жмурит... Не пошел, не мог, Иванку...

Было и такое: сиротскую землю продавал экзекутор за долги. У меня и гроши были, чтобы ее купить. Жена твердит: «Купим, греха в том нет. Все равно экзекутор ее продаст и на сиротские слезы не посмотрит». Даже сама Василиха, чья земля была, приходила до нашей хаты. «Купи, говорит, Семен. Лучше пусть тебе достанется, чем Матлаху». Не купил. Рука же поднялась. Матлах купил.

Я потом сам чул, как люди про меня в корчме говорили: «Совестливый, а дурак».

Приехали жинкины братья. Отдал я их землю и стал биться на своем клатике, да чего на клатике добьешься? Пошел чужой скот пасти на полонину. Вот вся моя жизнь, Иванку...»

От Семена я узнал, как живет Горуде, и через Семена я стал посылать в Студеницу деньги. Деньги эти по моей просьбе тайком от Горуды Руцак передавал Гафии, потому что, зная характер Горуды, я опасался, что тот может вернуть присланное обратно.

Семен стал угрюмым, нелюдимым, он и с хозяином разговаривал насупись, нехотя, но работал хорошо и с нетерпением, бывало, ждал моих приездов, чтобы поделиться своими наблюдениями и выведать у меня еще чего-нибудь про уход за скотом.

Стадо под присмотром Семена набрало силу. Медлительные швицкие красавицы, казалось, были полны молока, и Матлах, который недолюбливал Семена и относился к нему с какой-то опаской, возможно и не без оснований, вынужден был ставить его в пример другим. Но от меня не ускользнуло, как болезненно воспринимал эту похвалу Семен. И только однажды он снова, как и в былые годы, разоткровенничался со мной.

Один из моих приездов на пастбище совпал с троицыным днем. В этот день пастухи убирают свои колыбы зеленую, а овчары даже умудряются привязать зеленые веточки к рогам баранов.

По случаю праздника я прихватил из села бутылку сливовицы.

Как обычно, Семен водил меня по стаду от коровы к корове, хваля одну, сетуя на другую и восторгаясь

третьей. Он знал не только их клички, но хорошо помнил вес и удой каждой из них.

После обхода стада мы сели за обычный скудный пастишечий обед.

Выпитая сливовица не развеселила Семена, наоборот, сделала его еще более угрюмым.

— Люди думают, я перед Матлахом выслуживаюсь, — заговорил он. — Ты скажи, Иванку, так ведь думают, а?

— Никто так не думает, — попытался я успокоить Семена.

— Нет, врешь, — упрямо замотал он захмелевшей головой. — Я знаю, что про меня говорят, зна-аю: «Семен Руцак не за страх, а за совесть Матлаху служит...» Так! А того никто не разумеет, что у Семена душа рвется. Скажи ты сам, Иванку: ну як я могу добрые руки к такой красоте не приложить? — И он перевел ласковый взгляд на пасущееся невдалеке стадо. — Вон видишь, Мица... Мица, красавица моя!

Одна из коров, услышав свою кличку, подняла небольшую красивую голову и перестала жевать.

— Ты про ту Мицу, — продолжал Семен, — говорил, что больше двадцати литров с нее не взять? Говорил?

— Да, кажется, говорил.

— А я за ней, як за малой дитиной, стал ходить и взял тридцать, каждый день тридцать! И возьму еще больше. Плянуть бы мне и не пытаться, а не могу... Ах, бог ты мой! — И он поморщился, будто от физической боли.

Говорил Семен, а мне казалось, что я прислушиваюсь к себе, что это звучит мой, а не его голос.

— Хочешь, я Матлаха убью? — внезапно спросил Семен. — Чего, испугался? Слепней же бьют, чтобы они крови не сосали? Бьют... А вчера здесь Горуля был.

— Что он здесь делал? — встрепенулся я.

— Он? Гостил, — хитро подмигнул Семен. — Он теперь по всей Верховине в гости ходит. Придет, с людьми поговорит, газету почитает... — и вдруг, точно потеряв, как бывает с охмелевшими людьми, нить своей мысли, попросил: — Давай запоем что-нибудь, Иванку. — И, не дожидаясь ответа, затянул негромко:

Верховино, свитку ты наш,  
Гей, як у тебе тут мило...

Я стал вторить ему, прикрыв глаза.

На пастбище я собирался пробыть до следующего дня, но перед самым вечером неожиданно, как всегда, нагрянул Матлах и, узнав, что я здесь, потеснился на своей тележке и увез меня с собой. Целый день гулял Матлах на свадьбе у сына сельского старосты из Верецков и теперь был весел, оживлен, и от него разлило вином.

Надвигались сумерки. Дорога была витая, горная, с резкими поворотами, но, несмотря на это, Матлах то и дело прикрикивал на кучера:

— Шибче! Не с похорон, слава богови, едем!

Кучер подстегивал и без того резвых коней, и кони несли тележку с такой быстротой, что дух захватывало.

— Э, и свадьба была, пане Белинец! — сказал Матлах, хватаясь на повороте за колеса притороченного к задку кресла, которое он постоянно возил с собой. — Красно погуляли! — И, дохнув на меня винным перегаром, вдруг спросил: — А вашу когда играть будем? Чул,

добрую дивчину нашли себе? Да у вас что-то с ее батьком, старым Лембеем, не выходит?

— От кого вы это слышали? — спросил я, неприятно удивленный такой осведомленностью Матлаха.

— Чул, чул, — проговорил Матлах, — не все ли равно, от кого? Ну, пан превелбный Новак — мой знакомый, он и говорил... А может, сбрехнул святой отец?

— Нет, — вынужденно признался я, — это правда.

Матлах откинулся назад и усмехнулся.

— Э-э-э, и дурной ваш Лембей, матери его черт! Гроши у моего, матлаховского, инженера подсчитывать! Виданное ли это дело! Да мы старого дурня со всеми потрохами можем купить! — взмахнул руками Матлах. — И купим! Я своего инженера в обиду не дам. Что тому Лембею понадобилось? — Он нагнулся ко мне и заговорщически подмигнул: — Говорите, пане Белинец, что ему понадобилось, — хижа? Поставим хижу! Выбирайте участок, зовите мастеров. Батя вон своим инженерам дома в Злине ставит, а я что, не могу, по-вашему? Батя в Злине, а я в Ужгороде!

Спяну Матлах расхвастался безудержно. Речь его становилась все бессвязней. Наконец голова его свесилась набок, и он захрапел.

На следующий день, протрезвившись, Матлах позвал меня к себе.

— Седайте, пане Белинец, — сказал он, — будем ваше дело до конца решать.

— Мое? — удивился я. — О каком деле вы говорите?

— О вчерашнем.

Я продолжал недоумевать: ничего, кроме пьяного бахвальства, не приходило мне на память.

Матлах самодовольно рассмеялся.

— Я пьяный был — да помню, а вы трезвый — и забыли... Ну, ладно. — Он перестал смеяться. — Я того позволить не могу, чтобы у моего инженера свое дело не ладилось. Зря вы мне сами сразу не сказали, нехорошо. Уж если я вам не помогу, своему человеку, от кого тогда помощи ждать?.. Так вот слушайте. Со старым Лембеем я сам поговорю, как в Ужгород приеду, а дом будем строить, и гроши в задаток за него я внесу строительной фирме за вас, как за своего служащего, а там уж буду из вашего жалованья половинку удерживать каждый месяц...

Все это было совершенно неожиданно. И хотя помощь, предложенная Матлахом, уничтожала теперь все препятствия на пути к нашему с Ружаной семейному счастью, я принял эту помощь без всякой радости. Я понимал, что Матлах стремится привязать меня к себе, приобрести в собственность так же, как приобретает он в собственность дорогой рабочий скот. Было что-то мучительное, пугающее в этой липкой паутине зависимости от чужой, ненавистной воли.

«Все для счастья!

Добротно, модерно, быстро!

Англичане говорят:

«Мой дом — моя крепость».

Мы согласны с англичанами.

Все призрачно и обманчиво в мире, господа: успех, политика, предприятие; вечно лишь одно — стремление человека к покою и благоустроенному гнезду. Здесь он

находит забвение и отдых в кругу своей семьи; здесь ему ничто не мешает быть самим собой. Рушатся государства, уходят в отставку правительства — вам нет до этого дела. У вас свой дом, своя крепость.

Господа адвокаты, врачи, профессора гимназий, все желающие! Строительная контора братьев Колена, Ужгород, всегда к вашим услугам.

Наимодернейшая архитектура и планировка! Наилучшее оборудование!»

Адвокаты, врачи, профессора гимназий, инженеры находили в своих ящиках для писем эти отпечатанные на меловой бумаге, иллюстрированные проспекты.

И мы с Ружаной перелистываем страницы проспекта услужливых братьев Колена после того, как в нотариальной конторе скрепили заключенное между мной и Матлахом соглашение.

А Ружана словно преобразилась: из молчаливой, замкнутой, какой была последнее время даже со мной, вдруг сделалась она общительной, деятельной и какой-то важно озабоченной. Она, видимо, искренне была убеждена, что путь к нашему счастью и в самом деле лежал через строительную контору братьев Колена.

Я уступил Ружане право выбирать план дома по ее вкусу. Она сама вела переговоры о земельном участке, договаривалась с конторой о постройке. Действовала она энергично; почувствовав скорое избавление от домашнего гнета, Ружана стремилась изо всех сил приблизить этот счастливый миг. Одно только огорчало и даже злило ее: мое безразличное, а иногда даже неприязненное отношение ко всему, что касалось постройки дома.

Первым, по настоянию Ружаны, прапичу участка в день закладки фундамента переступил пан превелебный Новак. «Его с месяц не было в Ужгороде: ездил в Рим и только что вернулся оттуда.

Шурша сутаной, худой, сутулый, он медленно обошел вырытый котлован, творя на каждом углу молитву. За паном превелебным Сабо катил в кресле на колесах Матлаха. За ними шли Ружана, я, старый Лембей, успешный где-то выпить Чонка с женой и несколько приглашенных.

Когда церемония закладки была закончена и каменщик, приняв из рук Ружаны камень, уложил его в одном из углов котлована, Ружана обнесла гостей вином. Пан превелебный взял свой бокал и, держа его ладонями, как чашу, произнес:

— Отче всевышний, всемилостивый и всемогущий, ниспосли мир и благоденствие дому сему, огради взшедших под его кров от гордыни и дьявольских смущений. Да пребудет в их душах смирение и вера в благо ниспосланных тобою на землю испытаний.

— Аминь, — торопливо сказал Чонка и поднес бокал к губам, но негодующий взгляд Юлии остановил его, и он, вздохнув, нехотя опустил бокал.

Все сделали вид, что ничего не заметили, а Новак, выдержав паузу, продолжал, обращаясь ко мне:

— В трудное время дарована нам жизнь. Люди по наущению врага человеческого отговариваются от святой церкви, проповедают ложное учение, сеют раздор и насилие, нашептывают, что человек всемогущ. А человек слаб, немощен, и тело его — лишь временное вместилище души, как земная жизнь — мгновение перед жизнью вечной в царствии небесном. Дом воздвигаемый пусть

будет вам убежищем от суеты, твердью среди бующего моря.

Я слушал пана превелебного и ловил себя на мысли: «Как в сущности все это похоже на рекламу братьев Колена!.. Уж не отец ли Новак был ее автором?»

Взглянул на Ружану. Она стояла справа от Новака, полная сосредоточенного внимания, но по какому-то особому выражению ее лица я понял, что она только притворяется, что слушает, а на самом деле вся погружена в мысли о своем будущем счастье.

И вдруг я мысленно представил Ружану и себя не здесь, а в Студенице, у горулиной хаты, и рядом с нами были не пан превелебный Новак, не Юлия и не Матлах, а Горуля с Гафией... И так неудержимо потянуло меня к ним, к этим близким мне людям, с такой остротой я почувствовал, как дорог мне Горуля, а все, что окружало меня сейчас, казалось теперь еще более ненужным, стыдным и жалким.

Когда отец духовный кончил речь, слышались поздравления. За первым выпитым бокалом последовал другой, третий.

Ружана была особенно оживлена. «Посмотри, как все чудесно, — говорил ее взгляд, когда наши глаза встречались, — как все хорошо! Нужно ли желать большего?»

Но будь Ружана в состоянии сейчас читать у меня в душе, она бы поняла, что меня нет здесь, что мои мысли далеко, далеко отсюда.

## 29

Воскресным днем мы приехали с Ружаной в Студеницу. Дорогой я волновался, и Ружана все время поглядывала на меня с беспокойством.

— Что с тобой? — допытывалась она. — Может быть, ты боишься, что я не понравлюсь там?

— Да нет же, — искренне возмущался я, — как это может быть, чтобы ты кому-нибудь не понравилась! Я волнуясь совсем не поэтом.

Мог ли я объяснить Ружане, что для меня существовали две Студеницы: в одной все было связано с Матлахом, с моей теперешней подневольной жизнью, а другая была Студеница моего детства, из которой я ушел и на которую, как мне казалось, я потерял все права! Мог ли я объяснить, что с каждым днем я все острее чувствовал свою вину перед этой второй Студеницей! И эта мысль мучила меня непрестанно.

Нанятая в Воловце попутная подвода довезла нас до околицы. Я снял с повозки рюкзак, в котором лежали купленные для Горули с Гафией подарки, и повел Ружану к хорошо знакомой хате на сельской улице, а верхней тропкой.

Горули не было дома. Гафия до того растерялась, увидев нас, что, прикрыв рот краем черной хустки, несколько мгновений глядела на меня, словно не узнавая.

— Иванку, — проговорила она наконец, — ты?! — и заплакала.

По впалым и точно выдубленным щекам ее текли слезы, и она стряхивала светлые кашельки пальцами.

Я обнял Гафию, а она, припав к моему плечу, зашептала:



— Яб бы ты знал, як бы ты знал...

И это «як бы ты знал» повторяла она долго, не в силах до конца выразить того, что ей хотелось.

Только тогда, когда мы очутились в хате, Гафия как бы впервые увидела, что я пришел не один. Она вытерла щеки краем платка, и лицо ее точно замкнулось. Бросив осторожный и недоверчивый взгляд на Ружану, Гафия посмотрела на меня.

— Пришли до вас, мамо, — сказал я. — Это Ружана.

— Жинка? — помедлив, спросила Гафия.

— Нет еще, — ответил я, — а скажете, так будет и жинкой.

Ружана смотрела на Гафию со смущенной улыбкой. А Гафия, всплескивая руками, заметалась по хате.

— Йой, люди добрые! — приговаривала она. — Да разве так можно? Пришел и молчит, молчит, что с нареченной до нас... Да вы седайте!.. Ну, як так можно?

Она говорила, переставляя с места на место различные предметы, обмахивая передником по несколько раз и без того чистую единственную в хате лавку, сунула в угол горулины постолы, потом зачем-то вытащила их снова и вдруг, успокоившись, подошла к Ружане, усадила ее рядом с собой и осторожно погладила по плечу.

— Хоть бы ты с кем наказал, Иванку, что приедете, — сказала Гафия, — я бы и приготовилась и... — голос ее зазвучал глухо, — Илька бы никуда из дома не пустила.

— Где же он? На полонине? — спросил я.

— Нема его там, — ответила Гафия. — Третьего дня ночевал дома, так постучались к нему уж под самое утро — тоже из города какой-то человек. Поговорил с ним старый, а потом и ушли вместе. Только не на полонину, Иванку. Як на полонину уходит, так он про то всегда говорит.

Гафия начала хлопотать по хозяйству, и Ружана вызвалась ей помогать.

— Что вы, что вы! — запротестовала Гафия. — Я и сама справлюсь, сама все сделаю...

Но видно было, что ей приятна помощь Ружаны.

Через несколько времени я слышал, как они вдвоем ловили где-то за хатой курчонка, а затем собрались за водой на поточек.

Я окинул взглядом хату. Ничего в ней не изменилось. Так же, как и раньше, среди семейных фотографий висел вырезанный из газеты портрет Ленина; так же было здесь бедно, прибрано и чисто. Но тут я заметил, что под фотографиями, на украшенном резьбой сундучке, лежала небольшая стопочка прикрытых рушником книжек. Я подошел к сундучку, приподнял рушник и стал разглядывать книги. Все они были в мягких обложках, и по одному их виду, по изгибам на середине можно было судить, что книги эти побывали во многих руках. Но не в этом было главное. Взгляд мой приковали заглавие и фамилия автора одной из книг. Медленно и осторожно я стал перелистывать страницу за страницей, ничего еще не читая, но от сознания того, что я нашел эту книгу не на библиотечной полке, а на резном сундучке в верховинской хате у Горули, меня охватило удивительное чувство, какое бывает у человека, когда он совершенно неожиданно оказывается рядом с чем-то большим и значительным.

В хату вошла Гафия и сбросила у печки охапку хвороста. Следом за ней Ружана внесла ведро, в котором тихо плескалась вода.

Рукава у Ружаны были засучены, волосы распушились, глаза поблескивали, будто в них запечатлелась веселая игра поточка.

— Ну, не скучаешь без нас? — спросила Ружана. — Может быть, и ты пойдешь с нами на поточек? До чего там хорошо! Вода чистая, холодная.

— Нет уж, — улыбнулся я, — буду ждать вас здесь. — И обратился к Гафии: — Чьи это книги у вас?

Гафия встрепенулась.

— Чьи? Да Илька, — сказала она и вздохнула. — То он тебя учил, а теперь сам за книжки сел. Как дома бывает, так допоздна лампу жжет. Другая книжка еще ничего, все сразу сразу понять можно. Вон он и мне одну такую читал, як там, в России, по-новому жить стали; а другая попадется, так Ильку голову руками сожмет и все сидит, сидит. Мне его жалко становится. «Что, спрашиваю, Ильку, трудно?» — «Трудно, а читать надо. Десять раз прочту и пойму, а если, кажет, пойму, так будто во мне кто, Гафие, фитилек, як в той лампе, повыше выкрутил».

Ружана подошла ближе и с любопытством заглянула через мое плечо.

— Сталин, — медленно прочтала она и повторила: — Сталин.

Мне никто не мешал. Ружана с Гафией разговаривали шепотом. Я сидел на лавке у оконца, подперев руками голову, а передо мною на столе лежала открытая книга. Это был сборник лекций, прочитанных Сталиным в Москве, в Свердловском коммунистическом университете. Я читал, не задерживаясь на порою не совсем понятных мне местах. Непонятными были они потому, что касались неизвестных мне сторон жизни огромной страны, и жизнь эта была непохожа на ту, которой жили мы. Но чем дальше я читал, тем ясней и шире открывалась передо мной эта жизнь с ее борьбой, великими целями, путями, по которым должен идти народ, чтобы победить.

Изредка ко мне подходила Ружана. Она опускалась рядом со мною на лавку и сидела так, молча, минуту, другую.

— Ты не сердись на меня? — спрашивал я ее, не отрываясь от книги.

— Нет, нет, — качала она головой и, прищурив глаза, заглядывала в книгу. — О чем здесь, Иванку?

— О многом, — отвечал я. — И, должно быть, о самом главном в жизни.

— А я бы смогла что-нибудь понять?

— Думаю, что да.

— О самом главном, — повторяла Ружана. — Я давно хочу знать, что самое главное в жизни...

Ружана смолкала и, посидев еще недолго, уходила, а я снова погружался в чтение.

Около полудня в хату вбежала Гафия.

— Ох, Иванку, — позвала она, — вуйко идет!

В глазах Гафии были тревога и просьба.

— Ты уж смотри, сынку, — зашептала она, прижавшись к моей руке, — промолчи, если что... Я же знаю, у него сердце за тебя болит... Пусть будет мирно, як у людей...

Я нагнулся и поглядел в оконце. По тропе снизу поднимался Горуля. Он шел усталой походкой, но по тому, как в такт его тяжелому шагу размашисто взлетали и опускались руки, я уже знал, что возвращался он домой в хорошем настроении. Сердце у меня забилося.

А на дворе тем временем Горулю встретили Гафия и Ружана. Сквозь распахнутую в сенцы дверь до меня доносились их голоса, но слов нельзя было разобрать. Время вдруг потянулось тягуче, точно оно готово было вовсе остановиться. Я ждал. Уже и голоса затихли, но шагов все еще не было слышно, и Горуля не появлялся. Может быть, и он медлил так же, как и я? Или его отвлекла своими разговорами Гафия? Я уже сделал над собой усилие, подался вперед, но в сенцах вдруг стало темно: кто-то заслонил собою льющийся с улицы свет — и в хату, нагнув голову, шагнул Горуля. Дорожная пыль запылила его брови, слою лежала на шляпе и тупоносых, зашнурованных ремешками башмаках.

— Здравствуйте, вуйку, — сказал я.

— Здравым будь, Иванку, — отозвался тот.

— Да пусти ты нас в хату! — послышался из-за горулиной спины притворно сердитый голос Гафии. — Стал поперек дороги!

Горуля быстро отступил в сторону, пропуская Ружану и Гафию.

— Ходишь ты, все ходишь, — продолжала говорить Гафия, снимая с горулиных плеч серяк, — а тут жди тебя.

— Як бы мне знать, что такие гости у нас, — отозвался Горуля, — я бы у матери божьей крылья попросил.

— Дождется она, пока ты попросишь, — вздохнула Гафия. — Я уж думала, что ты и сегодня не явишься.

— Ну, ладно, жинка, не ворчи. Вон молодая послушает тебя и выучится.

Ружана улыбнулась, а Гафия от своего не отступала.

— Ничего, пусть поучится, — добродушно проворчала она, принимая от Горули запыленную шляпу. — Пусть поучится, может, и ей пригодится.

Горуля махнул рукой:

— Э, да разве тому молодых треба учить? Ты их научи, як им любовь сберечь, чтоб она их всю жизнь грела, чтобы от той любви им самим и другим людям радость была, вот ты чему их научи!

— А разве этому можно научить? — удивленно поглядела на Горулю Ружана, она не ожидала услышать здесь подобные слова. — Мало в жизни такой любви, о какой вы говорите, — со вздохом сказала она.

— Что мало, то правда, — согласился Горуля. — Так разве потому ее мало, что люди не хотят ее такой? Не дают людем так любить! Нуждой морят, грошами пачкают, продают, як те корчмари палинку.

Освободившись от серяка, шляпы, в одной домотканной сорочке Горуля, прихрамывая, прошелся по хате и опустился на скамейку. Видно было, что дорога была у него дальняя, что он очень устал, но занимавшая его мысль отгоняла теперь прочь усталость.

— А научить, — произнес он после паузы, — можно. Треба только сначала жизнь другой сделать... Перевернуть жизнь, чтобы она на ноги встала и пошла себе свободно... За такую жизнь и за такую добрую любовь можно и по чарочке... Як скажешь, Гафие?

Гафия заторопилась накрывать на стол и все время настороженно поглядывала то на меня, то на Горулю, готовая, как мне казалось, в любую минуту встать на мою защиту.

Горуля снял с гвоздя рушник и пошел во двор умыться. Я направился следом за ним, неся ведро с водой и деревянный ковшик.

— Ну, что ж, полей по старой памяти, — сказал Горуля, подставляя под струю ладони.

Но как ни радушен был Горуля, я чувствовал: лежит между нами черта, и трудно ему ее переступить.

За столом Горуля больше разговаривал с Ружаной. Он рассказывал ей о полонине, о своих странствиях по белу свету и даже успокоил тем самым Гафию. Но я не мог не почувствовать, что за всей этой внешней приветливостью он скрывает большое душевное напряжение, и время от времени я ловил на себе его быстрый, испытующий взгляд.

«Заговорит ли Горуля о том, что произошло со мной? — мучительно думал я. — Вспомнит ли он о моей работе у Матлаха или промолчит, не желая омрачить радостный для нас обоих день?»

Первым начал я. Случилось это после обеда, когда мы вышли из хаты покурить.

— Вуйку, — сказал я, — давайте поговорим.

Зажженная Горулей спичка остановилась на полпути к трубке и догорела до конца.

— Поговорим, Иванку. Послушаю, как ты жил все это время.

Я ничего не утаил от Горули, а рассказывал обо всем, что произошло со мной с первого дня моего отъезда из Студеницы, обо всем, что испытал и о чем передумал за то время, что мы не виделись. Горуля слушал, не прерывая, хотя и без меня знал многое, а о многом догадывался.

— Ох, Иванку, — с горечью проговорил он, когда я замолчал. — Разве мы не правду с Куртинцом тебе говорили?.. Ну, что, видишь, как у них все построено! — и под усами Горули мелькнула злая усмешка. — Сверху гладко, снизу сладко, а съешь — гадко. Что толку, если тебя добрым ученым считают? Волю для народа добывай, як в России ее добыли, вот тогда и науке твоей будет вольно!.. А с Матлахом как? — глухо спросил он после паузы.

— Работаю.

— Видел.

— Что же мне еще оставалось?

— А я тебя и не сужу, куда было деваться! Судить буду, когда ты ему и душу свою внаймы отдашь. Чул, дом тебе строит Матлах? То правда?

Я вспыхнул.

— На мои же деньги ему легко строить!

— Это как? — недоуменно сморщив лоб, спросил Горуля.

— Половину жалованья задерживает и еще пять процентов.

— А-а-а! То он умеет! В Америке научился людей вязать. Смотри, Иване, встанет он между мной и тобой, а может, уже и встал...

— Никогда! — вырвалось у меня с горечью. — Вот я пришел к вам, вуйку.

Горуля вынул изо рта трубочку и задумался.

— Ни, Иванку, — сказал он строго, — ты еще не пришел, ты еще не так пришел...

Ружана просила взять ее с собой на полонину. Горуля охотно согласился, и на рассвете они тронулись в путь.

Мне и самому хотелось пойти с ними, но я сознавал, что нам с Горулей еще тяжело быть вместе, что вчерашний разговор не принес настоящего примирения.

Отговорившись тем, что у меня есть дело на приферменных полях, я остался в Студенице.

Ранним утром следующего дня я отправился к матлахову двору.

Едва я подошел к воротам, как они, словно навстречу мне, распахнулись, и на сельскую улицу одна за другой вылетели две открытые легковые машины. Они свернули в сторону Воловца и помчались, взвихривая белесую дорожную пыль.

— Кто так рано? — спросил я, столкнувшись у самых ворот со стариком сторожем.

— Пань из города, — ответил старик, налегая плечом на створку ворот, — приехали чуть свет.

— А зачем приезжали, не знаете, диду?

— Не скажу, пане, только чул, шумно было в доме.

Я пересек просторный двор, взшел на крыльцо, и, несмотря на то, что входная дверь была плотно прикрыта, из глубины дома донесли до меня крики и брань. Я остановился в нерешительности: войти или подождать? Но крик и ругань не стихали, а, наоборот, становились все громче, и уже явственно слышен был голос Матлаха. Я толкнул дверь и, пройдя коридор, очутился в большой комнате, служившей конторой хозяину дома. Диковинное зрелище предстало перед моими глазами.

По комнате в своем кресле на колесах катался Матлах и выкрикивал ругательства. Мутные от ярости глаза его были навывкате и, казалось, ничего не видели. На полу валялись обломки палки.

— Не смогли! — кричал он уже совсем осипшим голосом. — Ай, ай, ай, какое дело провалили сами, своими руками!

— Что же можно было поделать, Петре? — пытался успокоить его незнакомый мне человек в полупальто, какие носили в селах зажиточные хозяева. Он сидел на краешке стула у самых дверей. Лицо у него было красное, а на лбу выступили капельки пота.

Но Матлах не давал говорить.

— Молчи! — ревел он, замахиваясь руками. — Тебе не старостой быть! Я бы тебя и кур щупать не подпустил! — и за этим последовало такое ругательство, какого мне еще и слышать никогда не приходилось.

Вдруг Матлах заметил меня.

— А, то вы, пане Белинец! — завопил он. — Рады?.. Ваш Горуля все!.. Горуля, Горуля!.. — и начал колотить руками по подлокотникам кресла с такой яростью, что казалось, кресло не выдержит и развалится под Матлахом.

— В чем дело, пане Матлах? — спросил я сухо.

Но Матлах не слышал. Он опять заметался в своем кресле по комнате, натыкаясь на стены и мебель.

Понимая, что Матлах сейчас не до разговоров со мной, я повернулся и вышел. Нужно было оседлать лошадь и ехать смотреть клевер, высеянный недалеко от того места, где строилась ферма.

На дворе меня окликнули. Я обернулся и увидел Семена Рущака. Он носил из амбара круги прессованной жмыхи и грузил их на подводу. Мы поздоровались.

— Что, был там? — спросил Семен, кивнув в сторону дома.

— Был.

— Не задохнулся он еще, Матлах? Второй час как орет.

— Что произошло? — спросил я.

— А ты не знаешь?

— Нет. Ничего. Зашел, Матлах мечется, ругается. Там староста у него какой-то сидит, весь в поту.

— То медвянский староста, — пояснил Семен.

— Но при чем же здесь Медвяное?

— При том, — спокойно ответил Семен, — что там вчера все и случилось... Да, несладко им от того Медвяного!

Из рассказов Горули, Куртинца и многих других, а затем из признания, сделанного перед судом самим Матлахом, мне ясно рисуется теперь не только событие в Медвяном, о котором идет речь, но и то, что предшествовало этому событию.

Это было вскоре после того, как в Германии к власти пришел Гитлер.

В Чехословакии внешне все как будто оставалось таким, каким было и год и три назад, но с каждым днем яснее становились планы германского фашизма, все настойчивее звучали требования реакционных партий и их газет спасти страну от большевизма и поставить компартию вне закона; усилились гонения на коммунистов, подняла голову нацистская партия судетских немцев с ее вожаком Генлейном.

Однажды, когда Матлах находился в Ужгороде, у него в гостиничном номере собралось несколько человек. Был здесь журналист официальной правительственной газеты, приехавший из Праги, пан Поспишак; социал-демократический лидер в нашем крае Ревай; сам Августин Волошин — униатский священник и воинствующий глава украинских буржуазных националистов, человек с диким личиком и спрятанными за стекла очков колючими глазами, и, наконец, пан превелебный Новак, молчаливо сидевший в стороне, но внимательно прислушивающийся к тому, что говорили другие.

Вот история жизни и дел этого человека.

Старший наследник обгирнейших лесных угодий и виноградных плантаций, Стефан Новак, носивший в молодости отцовскую фамилию Балог, был любимцем отца, человека с крутым нравом, жестокого и беспощадного.

Отец хотел из старшего сына сделать себе преемника, но Стефана, проучившегося до двадцатилетнего возраста в Будапеште, влекла к себе политическая карьера. Однако с отцом спорить было невозможно. Внешне Стефан смирился, стал вникать в дела, которые вел отец, но, хватавшись в Будапеште либеральных веяний, считал, что отец ведет свои дела слишком грубо, старомодно, прямолинейно, а надо бы их вести гораздо тоньше, не раздражая до такой степени «малых сил», которых сам Стефан в глубине души ненавидел и презирал ничуть не менее, чем презирал и ненавидел их его отец.

Революция 1905 года в России отозвалась и в наших Карпатах. В Ужгороде, Мукачево, на солерудниках в Солотвине прокатилась волна забастовок и демонстраций

солидарности с русскими братьями. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, батраки на Севлюшине пытались сжечь и усадьбу Балого, но подоспевшие правительственные войска погасили огонь. Самого Балого спасти им не удалось, он был зарублен ненавидящими его селянами.

Выступления рабочих, батраков было жестоко подавлено. Наступило «умиротворение». Но Стефан Балог прекрасно видел и понимал, что умиротворение кажущееся, что ненависть лесорубов, батраков и селян, с которыми ему пришлось теперь самому сталкиваться, горит в них с еще большей силой. И Стефан Балог обратил свой взор с карьеры светского политика на карьеру политика духовного.

В один прекрасный день Стефан заявил, что он отказывается от наследства, нажитого с такой жестокостью отцом, в пользу младшего брата, так же как отказывается от фамилии отца, и берет себе фамилию матери — Новак.

Этот поступок произвел немало впечатление во всех слоях общества, а в селах о Стефане Новаке заговорили как о человеке праведной и даже святой жизни.

Священником Новак стал, проучившись несколько лет в Риме, а затем он долгое время служил при святейшем отце папе римском в коллегии, которая ведала делами в нашем крае и Галиции. Но за святыми делами пан превелебный Новак не забывал об отцовском наследстве, отказанном младшему брату. В сущности говоря, он оставался попрежнему владельцем всех этих богатств и, соблюдая осторожность, чтобы никто не дознался, помогал брату приумножать их.

Возвратился пан превелебный на родину только в 1920 году, в свите первого назначенного североамериканским президентом Вильсоном губернатора Подкарпатской Руси, Григория Жатковича.

Новак мог бы занять одно из главных, а может быть, и первое место в епископстве, но он не был человеком тщеславным. Он был верным слугой Ватикана, взявшего на себя миссию спасти человеческие души от «красной опасности». Нет, не для епископской мангии приехал он на родину. Занимая скромную должность сначала профессора в семинарии, а затем и просто священника, Новак стал глазами и ушами Ватикана в Подкарпатской Руси, тайно вмешиваясь через служивших ему и за страх и за совесть людей во многие области жизни края. Фанатически ненавидя все, что угрожало породившему его строю, он, однако, считал себя демократом, придерживаясь того мнения, что запретный плод всегда сладок.

— Да, — признавался впоследствии Новак, — я был тайным политиком, но когда я увидел, что все наши усилия ни к чему не приводят, что, несмотря на демократические свободы, с каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше людей обращают взоры душ своих к учению коммунистов, я счел святым долгом своим стать еще и явным политиком.

Неожиданно для прихожан пан превелебный Новак уехал в Рим. Возвратился он через месяц, и у Матлаха в номере сидел уже один из новоявленных деятелей националистической партии Волошина.

Разговор шел о все нарастающих в республике беспокорстве и тревогах, вызванных притязаниями Гитлера к Чехословакии.

— Конечно, — говорил Поспишал, — у пана Гитлера есть претензии к нашей стране. Больше того: весьма воз-

можно, что дело не ограничится Судетами. Но... пока ведь ничего официально не объявлено, и в конце концов всегда можно договориться!.. Нас должны беспокоить симптомы более опасные: я имею в виду, господа, тенденцию к сближению с Москвой. Число сторонников такого сближения растет с каждым днем. Я недавно возвратился из поездки в Соединенные Штаты и имел честь беседовать с ответственными лицами, внимательно следящими за тем, что происходит у нас, и они обращали мое внимание именно на эту опасность.

— Но позвольте! — заметил Ревай. — Господин Рузвельт, новый президент, сам идет на сближение с русскими!

— Но к власти может прийти и новый президент, — многозначительно ответил Поспишал, — а кроме того, коммунисты у них, к счастью, не так сильны, как у нас.

— Послушайте, пане, — вмешался Матлах. — Мне все равно, Бенеш, или Гитлер, или еще кто другой, лишь бы крепко было и дела шли.

— Я бы попросил, пане Матлах, — насупился Ревай, — в нашем присутствии не ставить на одну доску Гитлера и пана президента.

— Пустое! — махнул рукой Матлах. — Як мы будем друг с другом в прятки играть, добра не выйдет. Я и против пана Бенеша ничего не буду иметь, если вы мне вот что скажете: может ли он у нас коммунистам раз и навсегда горло заткнуть, как то сделал у себя Гитлер, или нет?

— Это можно, а главное, необходимо! — внезапно для остальных твердо произнес молчавший до сих пор Новак. — Мы на краю пропасти, и только одно может нас с помощью всевышнего спасти от падения — огонь и меч против коммунизма, огонь и меч! Правительство и пан президент должны услышать не голос депутатов и лидеров партий, а голос самого народа, молящего избавить его от коммунистов.

— Да, да, — подхватил журналист, — вы опередили меня, духовный отец, именно об этом я и хотел сказать: требование самого народа — и тогда успех обеспечен.

— А если народ — сам коммунист, тогда что? — спросил, прищурясь, Матлах.

— Это клевета на народ! — произнес Волошина.

— Э, пане отец! — усмехнулся Матлах. — Не будем играть в прятки, вы же хорошо знаете, як выборы проходят. У кого голосов больше: у вас или у коммунистов?

— Да, это так, — вздохнул Поспишал, — надо иметь мужество смотреть правде в глаза. Коммунисты имеют, к сожалению, много сторонников, и, несмотря на все ограничения, особенно велико их влияние здесь, в нашем крае. Именно поэтому, пане Матлах, нужно, чтобы все и началось отсюда, из цитадели этих смутьянов. Все мы, — гость обвел взглядом присутствующих, — люди разных партий, решили объединить свои усилия. И, зная, пане Матлах, что вы один из влиятельных хозяев на Верховине, решили обратиться и к вам. Цель наша одна.

— Моя цель, — сказал Матлах, — чтобы порядок был и чтобы коммунистам горло заткнуть.

Гости разошлись затемно, довольные друг другом и тем планом, который они приняли на своем совещании. План был задуман хитро и очень пришелся Матлаху по

душе. Вернувшись домой, в Студеницу, он немедленно принялся действовать.

Проговорился ли как-нибудь ненароком сам Матлах, или его доверенные были неосторожны, но Горуля и его товарищи, заметив таинственную возню матлаховских людей и аграриев в селах, стали дознаваться, в чем дело, и в один прекрасный день из Студеницы в Мукачево к Куртинцу явился Горуля.

— Чул, Олекса, что затевают? А? Не чул еще? — быстро заговорил Горуля, едва Куртинец ввел его в свою комнату и закрыл дверь. — Садись и слушай, про что мы там, у себя, дознались. На сбор людей созывают.

— Кто созывает? Каких людей? — придвинув поближе к Горуле стул, спросил Куртинец.

— Да аграры там — Матлах, кажут, еще пан Волошин с ними. А кого созывают? Самую сельскую бедноту с нашей округи. Уже Федора Скрипку подговаривают делегатом идти, обещают недоимки снять. А главное, ты слушай, Олексо, чего хотят: хотят, чтобы на том сборе люди подписали лист до пана президента против нашей партии, ну и еще, чтобы призвали другие округа такие сборы провести.

— Так, так, — нахмурился Куртинец и встал со стула. — Ничего, ловко, очень ловко придумано! И ведь не хозяев созывают, а бедноту; глядите, пане президент, беднота требует запрета компартии!.. И, наверно, выбирают таких, у которых недоимки, как петля на шее?

— Да правда, что таких! — с отчаянием вырвалось у Горули.

Куртинец в волнении заходил по комнате.

— А где будут собирать и когда?

— Пока еще не дознались. Но есть думка, что на той неделе в Медвяном.

— В Медвяном? — переспросил Куртинец. — Место выбрали удобное.

— Да, уж ничего не скажешь, — мрачно согласился Горуля. — Там их сила. Все в руках держат! — И вдруг воскликнул с упорством: — А сбор тот мы все равно не допустим! Дознаемся, кто делегаты, до каждого из них пойдем и отговорим, ни один на сбор не явится, вот увидишь!

Горуля даже повеселел при мысли, что предстоит нелегкое дело, за которое ему не терпелось взяться. Он взглянул на Куртинца, ожидая одобрения, и был очень разочарован, когда Куртинец сказал:

— Сбор должен состояться, Ильку, и срывать его ни в коем случае нельзя. Думаю, что и краевой комитет согласится со мной.

— Это как? — рванулся с места Горуля, но Куртинец положил ему руку на плечо и усадил обратно на стул.

— Ты горячку не пори и не торопись, пожалуйста. Что толку с того, что мы сорвем этот сбор? Другой и в другом месте организуют. Так ведь?

— Ну, так, — с неохотой произнес Горуля. — А нам сейчас что, в сторонке сидеть и богу молиться?

— Нет, — сказал Куртинец, — нам надо быть на том сборе.

Горуля усмехнулся:

— Так нас с тобой туда и пустили!

— Их дело — нас не пускать, а наше дело — там быть.

...Сбор и в самом деле был назначен в Медвяном, одном из самых глухих верховинских сел, где все и всех

держал в своих руках староста Андрей Казарик, родной брат профессора Казарика, редактора знаменитого «Независимого еженедельника».

Люди должны были сойтись в воскресенье в корчме, и уже накануне из Ужгорода и даже из самой Праги приехали корреспонденты газет и два окружных налоговых чиновника, которые должны были тут же, на месте, выдавать прибывшим селянам, участникам сбора, свидетельства о том, что за ними больше не числится налоговых недоимок. Приехал ночью тайком и Лещецкий с уполномоченным социал-демократической партии. Они засели в доме старосты и никуда не показывались, чтобы не давать никому повода говорить, будто сбор заранее организован. По той же причине оставался у себя дома и Матлах: в сборе не должны были принимать участия зажиточные хозяева.

Ранним воскресным утром в Медвяное стали сходитьсь никем не выбранные, но зато тщательно отобранные Матлахом и его подручными «делегаты». Это были люди, которых нужда уже давно довела до тупого отчаяния. Положение у них было хуже, чем у жебраков: жебраки просыпались утром с надеждой, что где-нибудь сегодня удастся найти работу или получить подавание, а у этих не было и такой надежды: замученные голодом, налогами, они всё еще цеплялись за жалкие клочки земли, хотя эти клочки не только не кормили их, а, наоборот, выматывали последние силы, но все же это была «своя земля», и они считались ее хозяевами.

Теперь эти «хозяева» шли из своих сел на сбор в Медвяное, не зная даже толком, зачем их туда созывают. Влекло только одно — обещание, что будут сняты измучившие их недоимки, а ради этого они готовы были пойти на край света.

Сквозь небольшое, тусклое оконце, глядевшее на сельскую площадь Медвяного, Горуля видел, как прошли к корчме Федор Скрипка из Студеницы, Василь Иончук из Потоков, Михайло Лемак из Черного. Их встречали какие-то юркие люди, о чем-то спрашивали и только после этого пропускали в корчму.

Горуля и Куртинец жили в Медвяном уже третий день. Вместе с ними пришел в Медвяное Франтишек Ступа из Праги. Это был человек мужественный, веселый и на редкость одаренный. Адвокат по профессии, он в то же время пользовался широкой известностью как один из лучших писателей республики. Большинство его романов повествовало о судьбе нашего края, жизнь которого Ступа хорошо знал. Каждое лето он появлялся у нас в горах, подолгу жил среди лесорубов и пастухов, исходил все горные округа пешком. В селах его считали своим человеком и были рады, когда он там появлялся.

Несмотря на свою славу романиста, Ступа не бросал адвокатуры. В Праге у него была контора, которая вела защиту почти на всех процессах, затеянных против коммунистов. Судьи и обвинители нервничали, если знали, что он должен выступать на процессе.

С Куртинцом Ступу связывала старая дружба, и в Медвяное он приехал с намерением послать отсюда корреспонденцию в «Руде право». Добрались они в село не проезжей дорогой, а кружным путем, перевалив через кругую гору по охотничьей, хорошо знакомой Горуле тропке. Их приютил у себя в хате медвянский кузнец, с которым обо всем было договорено заранее, и никто даже подозревать не мог, что у кузнеца вот уже третий день

гости. Но зато гости знали все, что творится в Медвяном; знали они даже и о том, что в корчме на столах стоят бутылки с палинкой, тарелки с нарезанными кусками сала и хлеба и что корчмарь предупреждает делегатов:

— Это, люди добрые, уж после сбора. Як сбор закончится, тогда и выпьем и закусим.

Все новости сообщала Куртинецу и Горуле дочка кузнеца, Марийка, служившая у корчмара нянькой. Это была очень быстрая и смышленная для своих двенадцати лет девочка. Последний раз она прибежала в хату уже около полудня и сказала:

— До самого Васька (так звали корчмара) пан превелебный приехал! Сидит на хозяйской половине, а с ним староста.

Горуля и Куртинец переглянулись.

— Какой из себя пан превелебный? — спросил Куртинец.

— Худой, высокий, — стала объяснять Марийка, — а обличье маленькое, — она сложила вместе два своих кулака, — вот такое обличье.

— Новак, — заключил Куртинец, — волошинский златоуст, так и есть! Церковных проповедей ему оказалось мало, вот он и открыто ввязался в политику. Его теперь везде посылают, где только бывает жарко.

— Что, я чувствую, дело осложняется? — спросил по-чешски Франтишек Ступа. Он сидел на лавке, подбрав под себя ноги, и читал книгу.

— Нехорошо, — покрутил головой Горуля.

— А на меньшее и нельзя было рассчитывать, — произнес Куртинец.

— Не будем унывать, товарищи, — сказал Ступа, — чем защищеннее крепость, тем ее интересней брать. А мы ее возьмем! — Он спустил ноги с лавки, сунул книгу в карман и, поглядев сквозь очки на Марийку, спросил:

— Что, много народу собралось?

— Богато, — сказала Марийка, — и места уже нема!

— Но для нас найдется?

Девочка кивнула головой и поправила хусточку.

— А ты не боишься, Марийко? — спросил ее Куртинец.

— Ни, пане! — ответила она. — Мне тату наказал, чтобы я ничего не боялась.

Куртинец и Ступа улыбнулись, и Марийка ответила им улыбкой.

Корчма была набита битком. Люди тесно сидели на скамейках за столами и, вытянув шеи, слушали, что говорил им высокий человек в суконном глухо застегнутом сюртуке. Это был новоявленный златоуст Августина Волошина, пан превелебный Новак. Он стоял, опершись руками о спинку стула, перед корчмарской стойкой, за которой теперь вместо корчмара восседал избранный сбором президиум.

Федор Скрипка чувствовал себя не в своей тарелке, сидя рядом с медвянским старостой Базариком и каким-то городским паном. Но он тянулся изо всех сил и старался придать своему лицу значительное выражение. Это удавалось ему с трудом и то лишь потому, что он не сводил глаз с сидевших за отдельным столиком налоговых чиновников. Впрочем, не один Федор Скрипка смотрел в их сторону.

На столе перед чиновниками лежали книги с разграфленными страницами и стопками сданных делегатами бумаг. Каждый раз, когда один из чиновников протяги-

вал руку к стопке и начинал что-то записывать в книгу, у Скрипки екало сердце: «Мое або еще не мое?»

Ему до смерти хотелось избавиться от замучивших его недомок, но в то же время на душе было нехорошо, смутно, совестно. «Ох, мать боже...» — шептал старик и, обессилив от внутренней борьбы, впадал временно в оцепенение.

Между тем голос Новака крепчал, его слышала даже выставленная старостой Базариком охрана у дверей корчмы.

— Братья, я пришел к вам сегодня не для того, чтобы звать вас к смирению, и не для того, чтобы успокоить вас, наоборот, я пришел вложить в ваши руки меч. Да, да, меч! — новторил он, уловив движение среди слушающих. — Меч, который с благословения святейшего папы вы должны опустить сегодня на головы мнимых друзей ваших. Нет для человека ничего опаснее мнимого друга; лучше видеть злбу врага, чем его улыбку, лучше слышать его угрозу, чем обещания. И если вы спросите, кто же эти мнимые друзья наши, от которых мы должны спасти себя, я отвечу, — пан превелебный сделал пазу, — коммунисты!

Люди шелохнулись. Даже Скрипка отвел глаза от чиновников и уставился на выбритый морщинистый затылок Новака.

— Если бы не коммунисты, — продолжал Новак, — мы, украинцы, давно бы имели свою автономию, а мудрость наших правителей нашла бы путь, чтобы вывести народ из нужды к достатку. У нас царили бы мир и согласие, брат не шел бы на брата, сосед на соседа.

Сидевший рядом со Скрипкой староста кашлянул, и в самом дальнем углу корчмы, как солдат по команде, вскочил селянин.

— Правду кажете, отче духовный! — выкрикнул он. — Коммунисты головы людям дурят! Нельзя терпеть!..

Скрипка заметил, что староста кивнул головой, и селянин мгновенно сел, словно нырнул в воду.

— Нельзя больше терпеть, братья! — подхватил Новак. — Это уже поняли многие, присоединим и мы к ним свой голос, святой отец благословляет нас. Скажем пану президенту и правительству: требуем запретить партию коммунистов!

— Давно пора! — отозвался кто-то, а за ним другой, уже посмелее:

— А може, и в самом деле лучше станет, если без коммунистов?

— Дожидайся! — послышалось вдруг в ответ. — Як беда какая, кто за нас встает?

Новак недоуменно оглянулся на старосту. Базарик и сам был встревожен. Он вскочил со своего места, стукнул три раза ладонью по стойке и крикнул:

— Потихе! Прощу потихе! Вы же людям мешаєте расчет делать! — и кивнул в сторону склоненных над книгами финансовых чиновников. — Не дай боже, что спугают от такого шума, вам же будет нехорошо!

Опытные руки медвянского старосты привычно натянули вожжи. Шум мгновенно стих, и наступила неловкая, тяжелая тишина. Федор Скрипка даже зажмурился. Но тишина длилась недолго. Послышались какие-то неясные голоса. Староста, Скрипка и все, кто сидел за стойкой, обернулись к завешенному рядом проходу, ведущему из жилой половины дома в корчму. Люди поднимались

со скамеек, вытягивали шею, пытались разглядеть, что там происходит. Староста вскочил с места и бросился к проходу. Но было уже поздно. В корчму вошли Куртинец, Горуля и Франтишек Ступа.

— Кто такие? — забегая вперед, преградил им дорогу староста. — Сюда нельзя!

— Почему нельзя? — усмехнулся Куртинец, отводя от себя руку Казарика. — О нас говорят, мы и пришли послушать.

— Пан депутат! — узнав Куртинца, вмешался Новак. Лицо у него побурело от злости, и подбородок дрожал. — Вас никто не приглашал. Вы должны удалиться отсюда.

— Пан отец, — ответил Куртинец, — я уйду только в том случае, если меня попросит об этом хозяин. А хозяин здесь не вы, и не староста, и не корчмарь, хозяин — вот!

Куртинец обернулся к настороженно притихшим селянам и снял шляпу:

— Доброго здоровья!

— Здоровым будь!

— От себя и от товарищей прошу дозволения нам остаться здесь. Как скажете, так и будет.

Смущенное молчание встретило эти слова. Потом начали шептаться.

— Не надо, мы и без них, — говорили одни.

— А может, то не беда, — мялись другие. — Пусть остаются, слава богу, мы каждого знаем...

«Делегаты» были растеряны и озадачены. Ими владели сейчас два противоречивых чувства: с одной стороны, страстное желание избавиться от недомок, а с другой — совестно было перед пришедшими. Уж что-что, а случится какая беда или несправедливость, коммунистов звать на помощь не надо: они сами тут как тут. Начнут лютовать экзекуторы — кто против этого голос поднимет? Правду надо сказать в очи — кто ее скажет? Коммунисты. Память крепко хранила и девятнадцатый год, когда коммунисты делили между селянами отнятую у панов землю, — ох, и доброе было время!..

Куртинец терпеливо ждал, отлично понимая, что творится в душах сидящих перед ним селян.

— Я же знаю, — наконец сказал он, — что мы нежеланные здесь гости. Но давайте по справедливости. Нас, коммунистов, тут судят, но слыханное ли дело, чтобы на суд не пускали подсудимого?

— Здесь не суд, пан депутат! — громко произнес Новак.

— Нет, суд, — ответил Куртинец, — и вы выступали в роли прокуроров, теперь слово за нами.

— А что, правду говорит, — слышались голоса. — Надо по совести.

— Одного послушали, треба и других послушать.

Люди задвигались, потеснились, чтобы дать место пришедшим.

Совсем растерявшийся было Казарик пришел в себя. — Сбор дальше продолжать невозможно! — выкрикнул он. — Я закрываю сбор!

— Не торопись, — прервал Казарика Горуля. — Не твоя воля. И про это надо сначала у хозяев спросить, как хозяева скажут. Эй, люди добрые! Есть у меня думка: сбор не закрывать, а продолжать его, поскольку дела ведь и не решили!

— Не закрывать! Не закрывать! — пронеслось по корчме.

И как ни изворачивался медвянский староста и как ни страдал пан превелебный селян божьим гневом, люди стояли на своем.

— Продолжать сбор! — кричал громче других Федор Скрипка.

А между тем Новак и Казарик, пошептавшись, внезапно изменили свою тактику. Они призвали собравшихся к спокойствию, заняли свои места в президиуме, и председательствующий Казарик даже предоставил слово Куртинцу, но тут же, как бы между прочим, обратился к налоговым чиновникам:

— А вас, панове, прошу продолжать свою работу, чтобы, как закончится сбор, все было готово, у людей дороги дальние.

Точно шест пронесся в корчме и затих в дальнем углу.

Куртинец вышел на пяточок перед стойкой и, раньше чем начать говорить, неторопливым взглядом обвел лица глядевших на него селян. Некоторых он узнавал и улыбался им, как старым знакомым. Разум и сердце подсказывали ему, что то, о чем он должен был говорить с людьми, требовало не горячности красноречия, а разъяснения, и он начал свою речь спокойно, хотя и давалось ему спокойствие нелегко.

— Я не слышал, о чем говорил вам тут отец Новак, — произнес Куртинец, — но я знаю, зачем вас собрали в этой корчме, знаю, какое письмо к пану президенту вас хотят заставить подписать, знаю, почему стоит на этих столах палинка и для чего приехали сюда паны податные чиновники. Давайте, люди добрые, по-хозяйски разберемся, почему все это панство теперь из кожи лезет вон, чтобы добиться от правительства запрета нашей партии коммунистов. Они ведь и раньше ненавидели нас, мы и раньше им поперек дороги стояли своей народной правдой. Уж не случилось ли что-нибудь такое, что заставляет их идти на все, лишь бы убрать коммунистов с дороги? Да, случилось.

Куртинец сделал паузу. Несколько селян, отодвинув от себя тарелки с салом, налегли локтями на столы, чтобы лучше слышать. Скрипнул стул под Новаком, и Горуля, наблюдавший за медвянским старостой, заметил, как у того заблестел выступивший на висках пот.

— Да, случилось, — повторил Куртинец. — С тех пор как Гитлер пришел к власти в Германии, опять оттуда дохнуло войной, как холодом из погреба. Теперь уже и малый хлопчик скажет, кто угрожает Чехословакии. А что такое война, я спрошу вас, люди? Вспомните, что такое война для трудового народа? Может быть, она нужна, — Куртинец обвел взглядом собравшихся, — Федору Скрипке из Студеницы или Михайле Лемаку из Черного? Ведь это на ваши, а не на панские плечи ляжет она тяжелой бедой... Есть только одна сила в мире, которая может заставить Гитлера убрать со стола руки: эта сила — дружба нашей республики с Советским Союзом, великой страной, которой не нужны ни чужие земли, ни чужое богатство. Мы, коммунисты, ведем и до конца будем вести борьбу за эту дружбу. Мы требуем от правительства, чтобы оно признало Советский Союз и заключило с ним договор о дружбе, — Куртинец обернулся к Новаку, — а это как раз и мешает некоторым партиям, пан отец, мешает потому, что Гитлер приказал им расчищать для

него дорогу. Работа довольно трудная, грязная, но зато хорошо оплачиваемая.

Новак поблдевел. Задергалась в тике его верхняя тонкая губа.

— Вы клеветеете, пан депутат! — грозно произнес Новак и поднял глаза к потолку. — Бог свидетель, что вы клеветеете.

— Отче! — крикнул Горуля. — Яб конокрада поймают, он тоже говорит: бог свидетель, то не я коня украл. Что, не так?

Грянул хохот.

— Так! Правда!

— Ох, ты, Горуля, как скажешь!..

Куртинец выждал, и, как только стал затихать смех, опять послышался его голос, но звучал он теперь насмешливо:

— Как видите, неспроста вас собрали здесь и неспроста вам обещают снять недоимки. Но не случится ли с недоимками то же самое, что случилось в селе Великом с башмаками перед выборами в парламент?

— И у нас так было, — поднялся с места мрачного вида селянин, — в Черном. Аграры приехали, пообещали запogi каждому, кто свой голос отдаст за аграров, ну нашлись такие, что и польстились, мерки у них досняли.

— А башмаки где? — спросил Куртинец.

— Нема, так и не дали.

— У вас башмаки! — выкрикнул кто-то из дальнего угла. — А у нас тенгеричу по полмешка за голос!.. Да что тенгеричу или башмаки — жизнь добрую сулили, а где она, та добрая жизнь?

И пошло. Начали припоминать, какая партия что обещала, да все оказывалось обманом.

Куртинецу нелегко было снова овладеть вниманием слушателей.

— Ну, хорошо, — продолжал он, когда шум, наконец, стих, — я даже допускаю, что на этот раз действительно снимут недоимки, и за эту подачку, от которой все равно легче вам не станет, потому что на будущий год запишут больше, — за эту подачку хотят купить вашу совесть, они хотят натравить трудовых людей на коммунистов, чтобы в Праге пан президент мог сказать: «Смотрите, сам народ требует запрета коммунистической партии». Вот и выбирайте, о чем писать президенту, что требовать: войны или мира, запрета компартии или свободы для нее?

Задвигали столами, скамейками. Староста Казарик барабанил руками по стойке, кричал:

— Тише! Прошу потише!

Но его уже никто не слушал. Корчма гудела теперь на все лады. С места вскочил пожилой селянин Михайло Лемак.

— Люди! — закричал он. — Люди! Это я скажу! Тут пришел до нас пан Ступа! Мы все его знаем, добрый человек! Так пусть и он нам что-нибудь скажет, а?.. Ну как там у них, в Чехии, або на Словатчине, люди думают? Просимо, пане Ступа!

— Просимо, просимо! — поддержали Лемака.

Ступа поклонился и вышел.

— Я всегда говорю только то, что думаю, и только о том, что знаю. Знаю я, что вас хотят купить и притом, — он покосился на налоговых чиновников, — дешево и подпо, и думаю, что это не удастся. Фашизм заносит

руку над Чехословакией. Пофа это еще облачка над Судетами. Но если не принять меры во-время, нависнет над чехами, русинами, словаками черная, страшная туча. Нашей стране сейчас больше, чем когда бы то ни было, нужен верный и бескорыстный друг; такой, какой бы не предал, не изменил, с кем можно стоять рядом в минуту опасности. Нам не надо искать его, он есть, он готов протянуть нам свою дружескую руку — это Советский Союз.

А кто же видел, чтобы человек держал дверь запертой перед верным другом, а распахивал ее, чтобы позвать в дом недруга, грабителя и убийцу?! Думаю, что и вы такого человека еще никогда не видели.

Меня тут спросили, что думают обо всем этом в Чехии и Словакии. Мне пришлось говорить с простыми людьми в Братиславе, Праге, Пльзене, Кошице. Они думают то же, что и вы, товарищи! Они хотят работы, хлеба, мира, но не фашизма!

Опять люди задвигались, заговорили.

Налоговые чиновники ерзали на своих местах и с опаской поглядывали на возбужденных селян.

Новак попытался выскочить на жилую половину, но его остановил в проходе Горуля и смиренно сказал:

— Оставайтесь здесь, отче. Я уж вас, так и быть, постерегу, чтобы ничего дурного не случилось.

...Письмо писали всем сбором. У налоговых чиновников взяли перо и бумагу. Секретарем выбрали Горулю, хотя тот всячески и отказывался.

— А ты не гордись, ты только записывай, что народ скажет, — насканивал на Горулю повеселевший Федор Скрипка, испытывая теперь большое душевное облегчение, что не принял он греха на свою совесть.

Горуля сидел теперь за стойкой и старательно выводил на листе бумаги то, что диктовал ему сбор:

«...Хотим, пане президент, чтобы стояла у нас крепкая дружба с Советским Союзом. А коммунистов пусть никто и не вздумает трогать. Требуем, чтоб им дана была полная свобода. И прогнать надо не коммунистов, а тех злодеев, что Чехословатчину Гитлеру продают. Так народ хочет».

Письмо подписало сто тридцать четыре человека. И Матлаху было от чего прийти в ярость. Через неделю прошла волна таких же сборов в других округах. На столе у пана президента росла и росла кипа писем — таких же, как то, что прислал ему медвянский сбор...

Лето на Верховине прошло в дождях и едких туманах. Прояснится на час-другой небо, подразнит людей своим голубым сиянием — и снова тучи, снова дожди.

У одних посмывало посеvy вместе с почвой, у других едва взросло то, что посеяли, даже семян не вернули.

— Лютый идет, — говорили в селах.

Еще не успели убрать урожай, как лавочники взвинтили цены на тенгеричу. И заревела по дворам выводимая на убой скотина, потянулись на заработки в чужие края «искатели счастья». Потом все стихло, притаилось: ни веселого огонька, ни песни, ни смеха.

Тяжесть надвинувшейся на Верховину беды точно придавила меня. Я не мог думать ни о чем другом.



Ружана понимала мое состояние и сама была угнетена рассказами о грозящем Верховине голоде.

— Но в чем же твоя вина, Иванку? — говорила она, пытаясь утешить меня. — Ты ведь ни в чем не виноват. И чем ты можешь помочь такому несчастью?

Казалось, мне нечего было ей возразить, и все-таки я чувствовал какую-то свою вину перед людьми. С тяжелым сердцем ходил я по матлаховским полям. Вспаханное не вдоль, а поперег склонов, защищенные полосами высаженных кустарников, они не были тронуты водой, обходящей их по специально вырытым отводным канавам, и посева на матлаховской земле даже в такое ненастное лето были крепки, дружны и обильны.

— Ну, пане Белинец, — говорил довольный Матлах, — не думал я, что так поднимется. Землю словно подменили! Ей же теперь цены нет! То ваша заслуга, признаю, доказали!

Говорят, что аппетит приходит во время еды; так случилось и с Матлахом: подсчитав осенью первые доходы и вкусив первые плоды от своего успеха, он все чаще и чаще стал произносить слово «мало». Ставить вторую ферму он решил с весны, но о расширении первой думал теперь беспрестанно. Пронюхав через комиссионеров, что в Словакии под Кежмарком наследники немца-колониста продают десять голов племенного скота, Матлах предложил мне ехать туда немедленно.

Скот оказался превосходным, и сделка состоялась. Получив мою телеграмму, Матлах выслал из Студеницы трех гуртоправов. Через несколько дней три рослых верховинца грузили уже скот в вагоны, а я отправился пассажирским в Воловец, где меня должна была встретить матлаховская бричка.

Поезд в Воловец пришел во-время, но брички не оказалось. Чтобы скоротать время и укрыться от накрапывавшего дождя, я решил отправиться к знакомому учителю, жившему невдалеке от лесопилки, у которого мог бы в крайнем случае и переночевать.

Едва я спустился от вокзала вниз и прошел мимо корчмы, как услышал позади свое имя; кто-то произнес его так, словно оно нечаянно сорвалось с губ и человек пожалел об этом, но было уже поздно.

Я обернулся и увидел на пороге корчмы старого Федора Скрипку. Должно быть, он собрался куда-то в дорогу. Вокруг шеи был обмотан вязаный платок, на голове сидела неизменная надвинутая на уши войлочная шапочка; в одной руке он держал тайстру, а в другой суковатую, кривую палку; с тех пор, как я помню его, он никогда с нею не расставался.

За спиной Скрипки в дверях корчмы толпилось еще несколько селян.

— Вуйку! — удивился я. — Вот не ждал встретить вас в Воловце!

Я подошел к крыльцу и поздоровался.

— Куда это вы собрались? Не в Америку ли часом? Скрипка вздохнул и, оглянувшись на товарищей, словно ища у них поддержки, сказал без улыбки:

— У нас тут, люди кажут, своя Америка.

По тону, с каким он произнес эти слова, я понял, что в Студенице произошло что-то нехорошее. Я ждал, что Скрипка объяснит мне, в чем дело и куда они собрались, но Скрипка спросил:

— Торопиться куда або так гуляешь?

— Да нет, — ответил я, — жду лошадей, должны

были прийти к поезду. Может быть, вам они встречались?

— Где же нам их встретить, — сказал стоявший за спиной Скрипки прямой, плечистый, с красивым лицом селянин Дмитро Соляк, — мы сами идем в Студеницу.

— Пздека!

— Из Ужгорода, — ответил Скрипка. — Громада за правдой посылала, вот мы ту правду и несем, чтобы Матлах об нее зубы поломал.

Сказал и посмотрел на меня с вызовом, и те три, что стояли за скрипкиной спиной, тоже взглянули отчужденно.

— Что же произошло?

— Придете к своему хозяину, там узнаете, — зло ответил Соляк.

— А то произошло, — не выдержав, крикнул Скрипка и витиевато выругался, — землю отбирать надумал Матлах твой: мой клаптик, и Соляка клаптик, и половчин хин клаптик!.. Эх, да что тут рассказывать!..

Но рассказал Скрипка все, до конца.

Вскоре после моего отъезда в Мукачево началась копка картофеля на узких верховинских полосках. В один из дней этой страдной поры на дороге, ведущей из Студеницы к ферме, появилась приметная, высокая бричка Матлаха. Проезжала она здесь часто, и селяне, работающие на взгорьях, не обратили бы на нее внимания, если бы она вдруг не остановилась перед селянскими полями, прилегающими к землям фермы. В бричке, которой правил Сабо, сидел сам Матлах. Кое-кто из селян поспешил к дороге, но их опередили быстрые верховинские ребяташки. Взрослые видели, как Матлах подозвал к себе ребяташек, что-то сказал им, и через минуту ребята карабкались уже вверх, выкрикивая имена тех, кого звал к себе Матлах. Вскоре около брички стояло человек двадцать мужчин и женщин. Мужчины яли в руках шляпы и войлочные шапочки, силясь угадать по лицу Матлаха, зачем он их позвал. Матлах был приветлив, говорил о том о сем и даже пошутил с Федором Скрипкой, что тот никак не стареет. Затем он достал из кармана записную книжечку и, перелистав ее, сказал:

— Вот что, добрые люди, обиды я от вас не видал и вас не обижал никогда, а делал все так, как долг да закон велют. Может, когда и было между нами недоразумение, так вы уж меня простите, каждому человеку бог назначает свою тропку, иди по ней и терпи.

Никогда так смиренно Матлах не разговаривал ни с кем, и люди почувствовали, что это не к добру, что надвигается беда, но кабая, никто еще не мог догадаться.

А Матлах снова полистал книжечку и продолжал:

— Есть тут за вами долги. Еще с прошлого и позапрошлого года третину не вносили. Треба рассчитаться, добрые люди. Раньше я вас не беспокоил, а нынче год такой, что самому, может, есть нечего будет.

— Чем же нам отдавать? — вздохнула Мария Подовка. — Сам видишь, что уродило.

— А это уже не от меня, а от бога, — сказал Матлах и сам вздохнул. — Ну, а если отдать не можете, тогда что же, хоть и жалко мне хороших соседей, но придется вам с земли уходить.

Люди онемели от ужаса. Босые, простоволосые, стояли они перед бричкой, не в силах сразу охватить глубины горя, что на них вдруг свалилось. Только один Федор

Скрипка, моргая красными, слезящимися глазами, поддакивающий словам Матлаха, простодушно виновато улыбнулся и прогворил:

— Что ты, что ты, Петро! То же наша земля, куда нам с нее уходить! Как же со своей земли уходить!

Матлах поморщился.

— Мне вашей земли не надо. Я свое забираю.

— Какая же она твоя? — с той же простодушной улыбкой спросил Федор Скрипка. — Бога побойся! Ты на ней хоть комошек растер?

— Земля моя, — жестко произнес Матлах, — на то и бумаги есть. Была вашей, правда, а стала моей. Я никого не неволил у меня тенгерлицу под залог земли брать, сами шли.

— Сами шли, — согласилась Мария Половка и заплакала.

— Поехали, — тронул Матлах за плечо Сабо.

Тот дернул вожжи, и кони покатали бричку, а люди еще долго в горестном молчании стояли на дороге, и хотя они отлично понимали то, что им сказал Матлах, однако никто из них не хотел и не мог поверить, что они больше не хозяева земли, политой их потом.

А когда стало известно, что Матлах подал в суд, село глухо заволновалось. Чаще, чем обычно, хлопали двери в хатах, шептались друг с другом соседи. Даже те, кого не коснулась беда, чувствовали себя неуверенно: кто знает, может, завтра наступит и их черед? Корчмарь Попша, завидовавший успехам Матлаха, подговаривал селян идти в Ужгород и искать управу. Брожение перекинулось и на соседние села.

В воскресный вечер в корчме у Попши сошлось много народа, корчма не могла вместить всех, и люди толпились на крыльце и под окнами. Керосиновая лампа тускло светила среди клубов табачного дыма. Все были возбуждены, говорили громко, наперебой: одни советовали послать ходоков к губернатору края, другие — прямо в Прагу, третьи — к аграриям. Сколько было людей, столько мнений, и это сбивало с толку потерпевших.

— Эх! — сокрушенно вздохнул Федор Скрипка. — Был бы здесь Горуля, он бы, верно, сказал, до кого пойти!

Но Горуля в этот день в Студенице не было: Гафия болела, и Горуля повез ее в Мукачево к доктору.

И вдруг среди людского шума послышался чей-то голос:

— Знаю, до кого бы сказал, — до коммунистов треба идти!

В памяти людей всплывали голодные походы, забастовки лесорубов, правда, которую не боялись говорить

коммунисты в парламенте. Были в крае десятки партий, и каждая на словах стояла за народ, а эта была за народ и на деле, одна единственная, неподкупная...

Ходоки пошли в Ужгород.

— Вот погляди, погляди, — сказал мне Скрипка, вытащив из-за пазухи сложенную газету, — погляди, что там пишут.

Это была снова начавшая выходить в тот год газета компартии «Карпатская правда»; я развернул ее и увидел на первой полосе фотографию ходоков. Они стояли на широкой асфальтированной ужгородской улице в своих верховинских серядках, с бесагами<sup>1</sup> и дорожными посошками. «Правда и право», «За что их сгоняют с земли?» — было крупно написано внизу, — и дальше шла статья о том, что привело четырех верховинцев из горного села Студеницы в Ужгород.

Я читал внимательно, строчку за строчкой, эту гневную, обличающую статью, подписанную хорошо знакомым мне именем: Олекса Куртинец.

«Вам скажут: право, — писал он, — мы ответим: бесправие. Право там, где правда. Нам скажут: «Вот документы, подтверждающие, что эти селяне не являются больше собственниками земли, а арендуют ее у Матлаха». Мы ответим: «Земля отнята у них обманом, под угрозой голодной смерти».

«...Студеницкие селяне пришли требовать защиты, а не просить милости. Сегодня их четверо, завтра будет сто, а послезавтра тысячи. Нельзя молчать!»

Я медленно сложил газету и протянул ее Скрипке. Мне было жарко. Кровь прилила к лицу, и хорошо, что в наступивших сумерках люди не заметили этого.

— Чего вы добились? — спросил я после паузы.

— А это — уж наше дело, — уклончиво сказал Соляк.

— Вы что, опасаетесь меня? — и собственный мой голос показался мне чужим.

— Бог тебя знает, — пожал плечами Скрипка. — Бог тебя знает, кто ты есть!

Стыд больно ожег душу. Эти люди не доверяли мне. Я повернулся и медленно пошел прочь от корчмы. «Бог тебя знает, кто ты есть!» А разве это не правда? Разве я сам знаю, кто я? Сказать, что я на их стороне, что Матлах ненавистен мне так же, как и им, что я пошел к нему работать потому же, почему и они ходят к нему внаймы... Но разве изменят что-нибудь мои слова? Ничего не изменят. Отвечать надо было не словами.

<sup>1</sup> Бесага — переметная сума.

*(Продолжение следует.)*

Редактор В. Ильинков

Подписано к печати 1/х 1953 г. А-05492. Тираж 500 000. Бумага 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> = 2,25 бум. л. — 7,38 печ. л. Учетно-авт. л. 11,84. Заказ № 816.

2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата  
Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.



2 р. 35 к.

165  
КОЖАЙСКОЕ ПОССЕ  
15.74.92 КВ.57  
ПОМАШОВОЙ К.К  
1.12 РОМАН